АЗБУКА ВЕРЫ

Никифоров–Волгин Василий А.

Заутреня святителей

Художественная литература · azbyka.ru

Заутреня святителей – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/zautrenya-svyatitelej

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Заутреня святителей

Никифоров–Волгин Василий А.

По благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия

Василий Акимович Никифоров-Волгин. Биографический очерк

Совсем недавно имя этого писателя мало кому было известно внутри России. О нём просто не знали. И вот в печати стали появляться замечательные произведения Василия Никифорова-Волгина — трогательные, согретые жаром православной души, пронизанные тихим светом и лиризмом. Заветная книга его рассказов сразу же поставлена в ряд самых любимых, без которых не обходится ни один благочестивый читатель. К сожалению, о жизни самого писателя накоплено сведений немного, недоступными остаются и подробности его мученической кончины.

Своё детство Василий Акимович провёл на берегу Волги, в сельце Маркуши, что под Калязином. Родился он в 24 декабря 1900 года, когда Россия ещё жила старым укладом, а по сёлам и деревням и вовсе держались Православия, говорили природным языком, не засорённым чуждыми заимствованиями. Благоухающие травы, таинственные леса и блескучие воды Волги заронили в чуткую душу будущего слагателя полнозвучных строк неотразимые впечатления; колокольные звоны, благоговейная тишина молящихся в храме, радость и ликование праздничных дней — решительно всё это припомнит впоследствии литератор, усаживаясь за письменный стол. Вспомнится и бедность, часто посещавшая семью, — Аким Никифоров, его отец, всю жизнь пробавлялся сапожным ремеслом, как и дед, и прадед. Но к грамоте тянулся отрок, к святым глаголам Писания, в душе его рождались слова и образы, самые необходимые для русского прозаика.

Еще в раннем возрасте расстался Василий Никифоров с родным селом: зачем-то отца потянуло в далёкую Эстонию, в край, казалось бы, неведомый для волжского крестьянина. Но вот и далёкая сторонка, чужбина, старинный город Нарва с его седыми крепостями и замками, с неизбывной бедностью в окраинных трущобах. Скрашивали грустную действительность школа, книги, да дружба с посадскими мальчишками. Природа вокруг почти такая же, как в родном Поволжье. А главное, людей православных в Нарве оказалось много. И храмы есть, и всё также течёт быт по-православному. Даже говорок родной услышишь: половина коренных жителей — русские. А в революцию и вовсе сбежались сюда гонимые, кто откуда, и всё больше из внутренних губерний российских.

После начальной школы нужда не позволила Василию поступить в гимназию. Трудился и в поле, и сидя на «липках» — на сапожной скамейке, продёргивая дратву, и на приработках у богатеев. В свободные часы не выпускал из рук книгу — приходилось до всего доходить самостоятельно. Любил читать русскую классику, не чуждаясь и современных творений писателей и поэтов.

Обладая высоким голосом и отчётливым произношением, решил юноша стать псаломщиком. И стал им при Спасо-Преображенском соборе, самом большом в Нарве. Вот уж где набраться научения и премудрости Божией! Живёт душа церковным годом, возрастает от праздника к празднику.

Утверждаясь в себе, воспитанный в православной среде и наученный от книг, Василий Акимович решил попробовать и сам писать о том, что близко знал. В какую редакцию отослать рукопись — действовал наугад. Первая публикация молодого литератора состоялась в таллинской газете «Последние известия» от 10 сентября 1921 года.

Окрылённый успехом, пускай и небольшим, Василий Никифоров упорно ищет свою литературную тропинку. Он создаёт на местном материале целую серию заметок, зарисовок, очерков, коротких рассказов и всё это отдаёт в городскую газету «Нарвский листок». Густо печатает «Листок» начинающего писателя — что ни номер, то его проникновенная вещица. С годами название газеты менялось, менялся и её постоянный автор Василий Никифоров — день ото дня получалась плотнее художественная ткань его словес, тоньше оттачивался стиль, колоритнее проступала образность, а главное, он овладевает нужной тональностью повествования — совсем ненавязчивой, совершенно естественной. Потому как запечатлеваются подлинные переживания. Писатель прочно входит в литературную жизнь Нарвы, но по-прежнему ютится в трущобах и по-прежнему бьётся в тисках нужды. Печатают его охотно и много не только в Нарве, но и в Таллинне, и в Риге, и даже начали замечать в Париже. Теперь уже Василий Акимович уверенно подписывается «Никифоров-Волгин», соединив фамилию с псевдонимом, который он постоянно выставлял под своими статьями и зарисовками. Как бывалый литератор, он создаёт в Нарве литературный кружок «Святогор», в нём молодые писатели изучают технику художественной прозы и занимаются культурным развитием. В 1935 году парижский журнал «Иллюстрированная Россия» присудил Никифорову-Волгину премию за его рассказ «Архиерей», и этим внушительно подтвердил дарование писателя.

В почин 1936 года Василий Акимович покидает Нарву и поселяется в Таллинне, где входит в круг писателей-профессионалов, вступает в просветительное общество «Витязь», много печатается в рижской периодике — газете «Сегодня» и в журнале «Для Вас». Но не одна периодика занимала его в тот период: с середины 30-х годов Никифоров-Волгин неопустительно трудится над циклами рассказов, которые впоследствии составят два замечательных сборника: «Земля-Именинница» и «Дорожный Посох». Кусками огненной магмы, выхваченной из горнила суровой действительности, светились читателям эти рассказы, раскрывающие суть скорбного бытия русских людей под большевиками. Только красота Божиего мира и твёрдое стояние в вере спасли народ от уничтожения извергами. Книги Никифорова-Волгина буквально потрясли русских изгнанников своею правдивостью и смелостью. В его сборниках сильно ощущается поэзия православных праздников, литургический восторг от яви времён года. У Ивана Шмелёва появился надёжный сподвижник.

Начал было Василий Акимович создавать и третью книгу, и уже заглавие к ней подобрал: «Древний город» — о жизни и нравах русской провинции после революции, да подступило лето 1940 года с его леденящими душу ужасами. Стоило советской власти надвинуться на Прибалтику, как начались аресты. Выкашивались все русские культурные деятели, страдали и прибалты. Никифоров-Волгин предчувствовал, что за ним скоро придут. Исчезнуть, но как? Литературные занятия прекратил вовсе, устроился чернорабочим на судостроительный завод. Но куда же «органам» дорога заказана? Нашли, арестовали; численник показывал 24 мая 1941 года. В Вятскую пересыльную тюрьму привезли на казнь: писателя лишали жизни за его книги. Василий Никифоров-Волгин был расстрелян большевиками в городе Кирове (бывшей Вятке) 14 декабря 1941 года, и вместе с такими же страдальцами тайно зарыт на Петелинском кладбище. Его замучили враги России, но книги писателя и ныне здравствуют во имя жизни.

Александр Стрижев

Заутреня святителей (Под Новый год)

Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Стелется позёмка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.

Никола Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох.

Сергий Радонежский в монашеской ряске. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти.

Серафим Саровский в белой ватной свитке идет, сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку…

Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме.

— Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый! — весело приговаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьёт мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай шуршат валенки.

— Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать… Такой неугомонный, утиши его, Господи, такой неугомонный! — смеется Серафим и тоже бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Николы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке.

— Это что ещё! — тихо улыбается Сергий. — А вот в лето 1347-е, вот морозно было. Ужасти…

— Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, — говорит Серафим.

— Не заблудимся, отцы! — добро отвечает Никола. — Я все дороги русские знаю. Скоро дойдём до леса Китежского, а там в церковке Господь сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!..

— Резвый угодник! — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. — Старательный! Сам из чужих краёв, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемнённый, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него неустанно?

— За что полюбил? — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. — Дитя она — Русь!.. Цвет тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня… дитя Его любимое… Неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь — это кроткая дума Господня.

— Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, — тихо прошептал Серафим. — На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!

— А как же, отцы святые, — робко спросил Сергий, — годы крови 1917-й, 1918-й и 1919-й? Почто русский народ кровью себя обагрил?

— Покается! — убеждённо ответил Никола Угодник.

— Спасётся! — твёрдо сказал Серафим.

— Будем молиться! — прошептал Сергий.

Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки.

Затеплили перед тёмными образами свечи и стали слушать заутреню.

За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. Пела вьюга.

Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси — любови Спасовой, кроткой думе Господней.

А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.

1926

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стёклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде весёлой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесёшь из школы плохие отметки, то ёлки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я её на пятёрку исправлю… За арихметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — её тоже на пятерку исправлю…»

Когда всё это я сообразил, то сказал родителям:

— Балы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнёт, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и ещё пуще рассердился.

Рождество подходило всё ближе и ближе. В лавках и булочных уже показались ёлочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каёмками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но всё же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: «Необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в берёзах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те…» По сугробной дороге мальчишка в валенках вёз на санках ёлку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило весёлым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошёлся по базару, где торговали ёлками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого, — одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлёту в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришёл домой и увидел под иконами маленькую ёлку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом всё громче да громче: «Дева днесь Пресущественнаго раждает», и вместо «волсви со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют».

Отец, послушав моё пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шёл тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олётывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всём новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звёзд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей образованности, нашёл её. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идёт сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «Великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепётывающий, — в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду… Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Её завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала ещё тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него прояснённостью, воскликнул: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

«Услышите до последних земли, яко с нами Бог, — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. — Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог… Живущий во стране и сени смертней свет возсияет на Вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог… И мира Его нет предела, — яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) ёлку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришёл однолеток еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную ёлку и сказал слова, которые всем нам

понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под ёлку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветлённый вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы её шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

Крещение

В Крещенский Сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдёт с неба Ангел и освятит на реке воду и она запоёт: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом.

В слезах пришёл домой. Меня спросили:

— О чем кувыкаешь?

— Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью!

Из моих слов ничего не поняли.

— Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упрёком, — даже в Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!

— Да я же ведь за дело Божье вступился, — оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила её в печь, в пепел, — ибо грех выливать её на места попираемые. Отец спросил меня:

— Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнём вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

— Вот ежели и завтра Господь пошлёт снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет, — точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте

лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой…»

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осенённые молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые волосы…

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

— Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздаётся, а Гришка не верит… Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву: «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя… Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды… Тебе слушает свет…»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордани крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение» и всех окропляли освящённой водою.

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье и всё будет по-хорошему, как в день Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возжжённым светильником, и священник сказал народу:

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвёздный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерницу. Печёную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, мёдом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому — великим повечерием. Пели песню «Всяческая днесь да возрадуется Христу, явльшуся во Иордане» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углём начертание креста на дверях, притолках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным, а девушки «величают звёзды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несёт пирог, якобы в дар звёздам, и скороговоркой, нараспев выговаривает:

— Ай, звёзды, звёзды, звёздочки! Все вы звёзды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещёному, сряжайте свадебку для мира крещёного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоёт полнощная вода…

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За

окном ветер гудит в берёзах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном численнике покажется красная цифра 6 и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!

1938

Кануны Великого поста

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая — государыня масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полузимник; за ним три вселенских святителя: св. Никита, епископ Новгородский — избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня — были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого навершия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо — прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и берёзовые серёжки. Сердце похоже на птицу, готовую к полёту.

В лютый мороз я объявил Гришке:

— Весна наступает!

А он мне ответил:

— Дать бы тебе по затылку за такие слова! Какая тут весна, ежели птица на лету мёрзнет!

— Это последние морозы, — уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, — уж ветер веселее дует, да и лёд на реке по ночам воет… Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:

— Бежит время… бежит… Завтра наступает Неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Великому Посту — редька и хрен, да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий Пост — это весна, ручьи, петушиные вскрики, жёлтое солнце на белых церквах и ледоход на реке.

За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву:

Покаяния отверзи ми двери,
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой ко храму
Святому Твоему.

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином молились «в землю». Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все её благодатности: катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному — Неделя о Блудном сыне. За всенощной пели ещё более горькую песню, чем «Покаяние», — «На реках Вавилонских».

В воскресенье пришёл к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама»:

Раю, мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.

Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архангела, об Иосафе-царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:

— Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая её, душа лечилась от греха и помрачения!..

— Когда-то и я на ярмарках пел! — отозвался Яков, — пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Всё дело забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слёзы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — старинный стих повыветрился! Всё больше фабричное да граммофонное поют!

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия человека Божия или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это... землю русскую в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмёт... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знамением весны — она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался:

— Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила Неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зёрен — в знак веры в Воскресение из мертвых. В этот день Церковь поминала всех «от Адама доднесь усопших в благочестии и вере» и особенное моление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попалённых, зверьми и гадами умерщвлённых, от мороза замерзших...». И за тех, «яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или персть посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления...».

В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдалённые раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед грозным Судом Божьим и радость от близкого наступления Масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал:

— Прости, Господи, великие мои согрешения!

Масленица пришла в лёгкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудрёные, но завлекательные слова:

«Кинематограф «Люмиер». Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное представление малобариста геркулесного жонглёра эквилибриста «Бруно фон Солерно», престидижитатора Мюльберга и магикоспиритическ. вечер престидижитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королём ловкости Мартина Лемберга».

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испечённый блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской Масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там всё было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался — встреча; вторник — заигрыши; среда — лакомка; четверг — перелом; пятница — тёщины вечёрки; суббота — золовкины посиделки; воскресенье — проводы и прощёный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гулёной, Красавой. Пели песни, вытканные из звёзд, солнечных лучей, месяца — золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились и только одна Церковь скорбела в своих вечерних молитвах. - Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило прощёное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви, после вечерни, священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, то есть выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий Пост, почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на чёрный игуменский посох.

1938

Великий пост

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют!»

Иду через базар. Он пахнет Великим Постом: редька, капуста, огурцы, сушёные грибы, баранки, снетки, постный сахар… Из деревень привезли много веников (в Чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казёнку за сотками и говорят с покупателями тихо и великатно:

— Грибки монастырские!

— Венички для очищения!

— Огурчики печёрские!

— Снеточки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в чёрной епитрахили и произнёс никогда не слышимые слова:

«Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся…»

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих пред Господом на картине «Страшный Суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слёзы. Около Распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.

После долгой службы идёшь домой и слушаешь внутри себя шёпот: «Обнови нас, молящихся… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлёбка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам Святых отцов, на Великий Пост положено сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером…»

Я задумался над словами Якова и перестал есть.

— Ты что не ешь? — спросила мать.

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:

— Хочу быть святым Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:

— Ишь ты, какой восприёмный!

Постная похлёбка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал её до конца и попросил ещё тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к Великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в чёрной

ризе, и на нём большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника — тоже какого-то далёкого, окутанного глубиной. На клиросе запели, — тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце:

«Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…»

К аналою подошёл священник, зажёг свечу и начал читать Великий канон Андрея Критского: «Откуда начну плаката окаяннаго моего жития деяний; кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя…» Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит тёмный вечер, осыпанный звёздами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

— Сядь на скамейку и отдохни малость… Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрёма, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»

Я смахнул дрёму, встал со скамейки и стал креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою…»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На Масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:

— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник! — Отец ответил: «Бог простит, сынок».

После некоторого молчания обратился я и к матери:

— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. — И мать тоже ответила: «Бог простит».

Засыпая в постели, я подумал: «Как хорошо быть безгрешным!»

Юродивый

Вечерняя степь в синих снежных переливах. Звонкоморозная дорога, верстовой поникший столб, ветер и шуршистый тихий дым зачинающейся вьюги. По дороге идёт путник. Без шапки, в рваном полушубке, седой и сгорбленный. Он шёл истовым монашеским шагом и пел по-древнему заунывно и молитвенно:

Вы голуби, вы белые.
Мы не голуби, мы не белые.
Мы Ангелы-охранители,
А душам вашим покровители.

Навстречу путнику гремь бубенчиков и песня. Из синих пушистых глубин вынырнули деревенские сани, с седою от снега лошадью. В санях сидели пьяные мужики, пели песню и обнимались.

— А… Никитушка! — загомонили они, останавливая лошадь. — Куда плетёшься, Богова душа?

Путник улыбнулся им и поклонился в пояс. От улыбки его глаза мужиков стали тихими и светлыми.

— Господь туда зовёт… — зябко прошептал путник, указывая в степную завьюженную даль.

— Замёрзнешь ты в степи!.. Ишь, снег-то пошёл какой неуёмный!

— Это не снег, а цветики беленькие, — строго ответил Никитушка. — Господни цветики!..

Поглядел на дымно-сизое небо и с улыбкой досказал:

— Весна на небесах… Яблоньки райские осыпаются!..

Мужики задумались, а потом вспомнив что-то, засуетились:

— Никитушка! Нехорошо быть в степи одному. Садись к нам в сани. Поедем в гости, а?

Никитушка замахал руками.

— Не замайте меня, ибо на мне рука Господня!..

Один из мужиков, самый пьяный и лихой с вида, грузно сошел с саней и, сорвав с головы лохматую шапку, угрюмо молвил:

— Благослови меня недостойного! Ты святой!..

Никитушка рассмеялся и запел:

— «Воскресение день, просветимся, людие. Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и от земли к небеси!..»

Смотрели на него затаёнными древнерусскими глазами.

Самый пьяный и лихой с вида растроганно протянул Никитушке шапку и сказал:

— Прими от меня. Холодно тебе. А я и без шапки доеду!

Путник скорбно отстранился от дара, низко поклонился мужикам и ушёл от них…

Долго смотрели ему вслед и молчали.

Когда замолкли вдали бубенцы, то Никитушка повернулся в сторону уезжающих и перекрестил их.

С тонким льдистым посвистом, звеня снежной позёмкой, колыхался по степи вьюжный ветер.

С мёртвой ракиты упал голубь, забитый морозом. Никитушка поднял его, запрятал за пазуху и, тихо улыбаясь, слушал, как вздрагивала окоченевшая птица.

Наступала долгая степная ночь. Вдали послышался озябший собачий лай, и засветили жёлтые крестьянские огни. Среди сугробов, вскрай дороги стояла чёрная бревенчатая изба.

Путник вошёл в тёплое нутро её и остановился на пороге. В тусклом свете керосиновой лампы, за длинным щербатым столом, сидело пять мужиков и пило водку.

Из сидящих за столом выделялся, как берёза среди чёрных елей, лишь один. Был он ясноликим, кудрявым, ладным, с высоким чистым лобом.

При взгляде на вошедшего старика он перестал пить и глаза его стали тревожными.

— Кто это? — шёпотом спросил он у хозяина.

— Никитушка, — ответил тот дряблым от опьянения голосом, — юрод. Не то блажен муж, не то всуе шаташася. Нам не разобрать. Мавра! — крикнул он за перегородку. — Подай Никитушке штей!

— Да что это ты, Фёдор, так на него воззрился-то? — обратился он к кудрявому. — Выпей жбанчик.

Фёдор залпом выпил водку и рассмеялся шипящим и ползучим смехом, от которого все вздрогнули.

— Что это тебя проняло-то? — спросили его.

— Старик мне преподобного напомнил, мощи которого я из гробницы выбросил!

— Какого преподобного? — испуганно съёжились мужики. — Выпил ты, Федюшка, лишнего. Муть у тебя в голове пошла!

— Хотите расскажу? — со смехом спросил Фёдор.

— Зачем же ты смеёшься? — угрюмо заметили ему.

— Это я так. Я, братишки, не смеюсь. Смех этот, братишки, у меня вроде болезни. Итак, слушайте: в Сретенском монастыре вскрыли мы мощи одного святого и выбросили их на улицу…

За перегородкой послышался стон Мавры. Мужики опустили головы и старались не смотреть друг на друга.

— После этого дела пошли мы в трактир…

У Фёдора останавливалось дыхание и лицо перекашивалось судорогами.

— Сколько я пил в трактире — не помню! Чем больше пью, тем на душе страшнее… и всё время стоит рядом угодник в чёрной схиме и жёлтые руки тянет ко мне… и шепчет что-то…

— Шепчет? — переспросил один из мужиков помутневшим голосом и тревожно посмотрел на

тёмное окно.

— Я как вскрикну в трактире! Меня успокаивать стали… После этого я в горячке пролежал больше месяца… И вот теперь, братишки, куда я ни пойду, за мною все время тень угодника ходит…

— Ты только не смейся, — перебили Фёдора, — нехорошо ты смеёшься!

— Я не смеюсь, братишки! Я же вам сказал, что это у меня вроде болезни!

— Это не снег, а цветы райские осыпаются, — прошептал Никитушка, держа в руках обогретого голубя.

Он склонился над ним и пел однообразно и причитно:

— Вы голуби, вы белые… баю-баюшки-баю…

Фёдор цепко прислушивался к заунывному баюканию юродивого и, ухватившись за руку хозяина, опять спросил его:

— Кто это?

— Я же говорю тебе, завьюженный ты человек, что это Никитушка, Божий человек. Погляди-тка, он голубя спать укладывает…

— У него лицо как у того… и руки тонкие, жёлтые… его!

— У кого, Фёдор?

— У преподобного!.. Мощи которого я вскрывал…

Из-за перегородки вышла Мавра и спросила Фёдора:

— А почто ты это делал? Матушка, что ли, тебя не благословила али Ангел Хранитель тебя покинул?

— Ты волк! — пробормотал охмелевший мужик, погрозив Фёдору землистым пальцем.

— Это верно, что я волк, но по натуре-то своей я жалостный. Ежели, например, запоют, бывало, монахи панафиду али акафист, то у меня на глазах слёзы и душа от жалости на части разрывается! Вот и поймите вы меня, братишки!

Мавре хотелось успокоить его, но вместо утешительных слов она подошла к иконе и затеплила лампаду.

Фёдор смотрел на Божий огонёк, и лицо его светлело, и опять он казался берёзой среди чёрных угрюмых елей.

Когда все улеглись спать, то Фёдор подошёл к лежащему на скамейке юродивому и поклонился ему до земли. Никитушка приподнялся со своего ложа, обнял его и благословил.

«Торжество Православия»

Отец загадал мне мудрёную загадку: «Стоит мост на семь вёрст. У конца моста стоит яблоня — она пустила цвет на весь Божий свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий Пост и Пасха.

Первая неделя Поста шла к исходу. В субботу Церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне:

— Не многовато ли будет?

Я поперхнулся от смущения и закашлялся.

В эти богоспасённые дни (так называли Пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой Субботы, а дальше уж не заглядывал — не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:

Возсия благодать Твоя, Господи,
Возсия просвещение душ наших;
Отложим дела тьмы и облечемся во оружие света:
Яко да преплывше Поста великую пучину.

Всё чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное от мира собираемое» святителя Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими как бисерным кошелёчком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день Ангела:

«Как купец от различных стран собирает различные товары и в дом свой привозит, и сокрывает их; так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать».

Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтёшь, например, «Мир», «Солнце», «Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимотекущая», а мать уж и вздыхает:

— Хорошо-то как, Господи!

Отец возразит ей:

— Подожди вздыхать… Это же «зачин». А она ответит:

— Мне и от этих слов тепло!

Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь её. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся заглавные слова:

— «Свеща горящая»… «Вода мимотекущая»…

Наш город ожидал два больших события: приезда архиерея с знаменитым протодьяконом и чин провозглашения анафемы отступникам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачёву, Мазепе, и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «С проклятьицем, матушка». При слове «анафема» мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну.

День этот был мглист, надут снегом и ветром, готов рассыпаться тяжелой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я всё же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырёх дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарём, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге и однажды, тяня бечеву, запел песню на всё волжское поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили «во вся тяжкая» колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на чёрный высокий посох. Лицо монаха властное, смурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянув на медного протодьякона. Он начал возглашать: « Достойно есть, яко воистину…»

К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское «входное», поверх которого шли тяжёлые волны протодьяконского голоса: «И славнейшую без сравнения Серафим…»

Два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками.

Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше Православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: «Да возрадуется душа твоя, о Господи!..»

Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:

— Закрой рот! Стоишь как ворона!

— А у тебя сопля текёт! — разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.

— Чего это вы тут озоруете? — зашипел на нас красноносый купец Саморядов. — Анафемы захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу: «Тако да просветится Свет Твой пред человеки!..»

Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:

— Вот дак… голосище! Чтоб… его…

Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься. На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперёд, но меня не пускали и даже бранили:

— И что это за шкет такой беспокойный!

— Пустите сорванца вперёд, а то все мозоли нам отдавит!

Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почётные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на «золотое шествие» духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блажени нищие духом», на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление «Призри с небеси, Боже» и осенившего всех нас огнём, — а в это время три отрока в стихарях пели: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас», — на всенародное умовение рук епископа перед Великим выходом, при пении «Иже херувимы тайно образующе», и всё это при синайских громах протодьяконского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:

— Успокойся, милый, успокойся!

Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие тёмные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении Светом всех помрачённых и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжёлые металлические руки на высокий чёрный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен: «Кто Бог велий яко Бог наш, Ты еси Бог наш творяй чудеса!»

Как бы объятый огнём и бурею протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово: «анна-фе-мма!»

И опять мне представилась гора, с которой падали тяжёлые чёрные камни в дымную бездну.

Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее: «Анафема, анафема, анафема!»

Церковь жалела отлучаемых.

В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью: «Отрицающим бытие Божие — анафема!»

«Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог — анафема!»

«Не приемлющие благодати искупления — анафема!»

«Отрицающие Суд Божий и воздаяние грешников — анафема!»

В этот день мать плакала:

— Жалко их… Господи!

Зверь из бездны

Приближение Пасхи Михаилу Каширину внушало жуть. С одним из предпасхальных дней у него было связано кошмарное событие, при воспоминании которого на голове прибавляется лишняя прядь седых волос и таким близким кажется безумие.

Это было в те годы, когда Бог отступился от людей и по земле ходил зверь, выпущенный из бездны. Однажды ночью к Каширину пришли люди в кожаных куртках и его, как бывшего офицера, арестовали и препроводили в тюрьму.

Шли дни, похожие на тупые ржавые пилы, убийственно медленно распиливающие сознание неизбежностью страшного конца.

В те времена Каширин был молод; у него была невеста с тихим именем Лиль; были радости, надежды, любовь. Она часто приходила в тюрьму на свидание. Короткие, ограниченные временем встречи, когда не успеешь наглядеться в родимые глаза и наговориться до опьянения, прерывались резким окриком тюремного надзирателя:

— Хватит!

В те времена смерть ложилась рядом с Кашириным и обнимала как своего. Все друзья его по очереди выводились из тюрьмы и расстреливались. Очередь была за ним, и он готовился умереть, как офицер, геройски и красиво. Больше трёх месяцев он просидел в тюрьме, со дня на день ожидая, когда порвут тонкую паутину, соединяющую его с жизнью.

Однажды — день этот также нельзя было забыть — в камеру вошёл тюремный надзиратель и сказал:

— Вы свободны!

Было это настолько неожиданным, что Каширин потерял сознание, и если бы не поддержали его, он упал бы на каменный пол. Его вывели на улицу и захлопнули за ним тяжёлые тюремные ворота.

А на улице был тихий солнечный март, в деревьях гудел ветер, пахло весной. Опьянённый

свободой и этим чудесным привольным ветром, он, по-детски крылато, побежал домой. Встретила его Лиль. Плакали и смеялись от нечаянной радости…

Шли дни. Было и холодно и голодно, но любовь, шумевшая весенним лесным шумом, гасила все невзгоды звериного времени.

Наступила Страстная Суббота. С утра Лиль зажгла лампаду перед образом Христа в терновом венце и пошла стоять в очереди, чтобы купить к наступающему празднику селёдок и хлеба.

— А ты, — сказала она Михаилу, уходя из дома, — прибери нашу горенку. Завтра Пасха…

Прибирая комнату, в груде мусора и бумаг Каширин нашёл разорванный конверт и в нём записку с лаконическими строками: «Благодарю Вас за прекрасные часы, проведённые с Вами: Ваш жених будет немедленно освобождён». Под строками стояла подпись комиссара Романского.

Кровь буйным, ошеломляющим жаром ударила в голову Каширина. Бледнея от ужаса и едва удерживаясь на ногах, он крепко, до мучительной боли, сжал виски руками: «Так вот какой ценой куплено моё освобождение!»

Взгляд его остановился на огоньке лампады. Он подошёл к иконе и с каким-то тёмным озлоблением погасил этот огонь…

Когда пришла Лиль… Он помнил только, что она светло улыбалась, когда вынимала из корзины провизию… И туфельки её были намокшими от весенних луж… И слышал он ещё хруст костей, когда ударил её чем-то холодным и массивным… Больше ничего он припомнить не мог. И на всю жизнь осталась в памяти предсмертная её улыбка, страшный хруст разбитых костей и мокрые туфельки на продрогших ножках.

Самое страшное ждало Каширина впереди. Когда он был командиром полка в Белой армии, к нему привели пленного комиссара. На вопрос «фамилия?» пленный ответил:

— Романский!

Каширин почти в полубезумии посмотрел на него и не мог больше вымолвить ни одного слова.

Романский горько улыбнулся:

— Непримиримый враг, да? — спросил он, широко глядя в глаза командира. — Ошибаетесь, несчастный вы человек! Выслушайте меня. Я, стоящий на грани смерти, заявляю вам, полковник Каширин: вы были неправы, убив свою невесту. Она была невиновна. Она пришла ко мне просить за вас, как к другу детства. Клянусь вам (если вы верите моей клятве), мы действительно провели с нею прекрасное время, делясь впечатлениями нашей минувшей гимназической жизни. И только во имя её, во имя наших хороших прошлых дней, я освободил вас от расстрела, хотя смертный приговор был уже подписан. Зная вашу офицерскую гордость, она, наверное, не рассказала вам, что ходила к вашему заклятому врагу просить за вас!

Перед расстрелом комиссар Романский ещё раз крикнул Каширину:

— Идущие на смерть не лгут! Помните, что ваша невеста невиновна!

После этого события Каширин покушался на самоубийство и около трёх лет пробыл в психиатрической больнице во Франции.

Однажды во время Великого Поста в одну из русских церквей пришёл усталый, обветренный жизнью человек и попросил священника срочно исповедать его. Исповедь длилась очень долго. Наконец из алтаря вышел священник и позади его исповедник. Священник обратился к народу:

— Этот человек, — сказал он взволнованным голосом, — выразил желание исповедать свой грех публично. Выслушайте его и простите…

Священник хотел ещё что-то сказать, но не мог. Он отвернулся к иконе Спасителя и громким шёпотом, сквозь рыдания, стал молиться. А неведомый человек стал рассказывать притаившейся церкви свой грех… Это был Михаил Каширин.

1937

Великая Суббота

В этот день с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу берёзовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновлёнными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с варёным рисом, и меня «намахали» из дому:

— Иди лучше к обедне! — выпроваживала меня мать. — Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе: когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…

Я зашёл к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но тот отказался:

— С тобою сегодня не пойду! Ты меня на выносе Плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла ещё Плащаница и духовенство служило в чёрных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У Плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.

До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:

— Дивен Бог во святых Своих, — выкруглял он зернистые слова. — Возьмём, к примеру, преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем девятнадцатого января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала…

«Что за притча?» — думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

— Скажи на милость! — сказал кто-то от сердца.

— Это ещё не всё, — качнул головою старец, — на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила её к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в

дар, за доброту твою…»

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бдение с пением вечерних песен. Когда провели «Свете тихий», то к Плащанице вышел чтец в чёрном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение и Воскресение… Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: «Го́спода пойте и превозносите во вся веки…»

Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском: «Господа пойте и превозносите во вся веки…»

Несколько раз повторял хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение «боготканные глаголы».

Благословите солнце и луна,
Благословите дождь и роса,
Благословите нощи и дни,
Благословите молнии и облацы,
Благословите моря и реки,
Благословите птицы небесные,
Благословите звери и вси скоти.

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию.

— Благословите звери!..

«Поим Го́сподеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканных глаголах: «Го́спода пойте и превозносите во вся веки!»

После чтения «Апостола» вышли к Плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».

Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя чёрные страстные ризы и облекалось во всё белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали чёрное и облекали их в белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всём этом диве рассказать матери…

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.

— Надо рассказать матери… сейчас же!

Прибежал запыхавшись домой и на пороге крикнул:

— В церкви всё белое! Сняли чёрное и кругом одно белое… и вообще Пасха!

Ещё что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую

херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

Да молчит всякая плоть человеча
И да стоит со страхом и трепетом
И ничтоже земное в себе да помышляет.
Царь бо царствующих и Господь господствующих
Приходит заклатися и датися в снедь верным…

Канун Пасхи

Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы ещё спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески и на образе «Двунадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное… Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.

Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась:

— Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!

Никогда в жизни я не видел ещё такого великолепного чуда, как восход солнца!

Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:

— Почему люди спят, когда рань так хороша?

Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно, — сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведётся умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать её.

— Тять! На том свете мы все вместе будем?

Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причём крепко взял меня за руку):

— Много будешь знать, скоро состаришься! — а про себя прошептал со вздохом: —Расстанная наша жизнь!

Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:

«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказаннаго и неизреченнаго терпения!»

«Под землю скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейше Спасе».

Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны»:

«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде Свет солнца».

«В одежду поругания, Украситель всех, облекаеши, иже небо утверди и землю украси чудно!»

С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет» запели Великое славословие — «Слава в вышних Богу…»

Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всём своём диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.

При пении похоронного, «с завоем», — «Святый Боже», при зажжённых свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.

На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая, — скоро она совсем пропитается солнцем…

Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.

Я услышал, как кто-то шепнул другому:

— Семиградский будет читать!

Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник, сюртуке Семиградский, с большою книгою в дрожащих руках, подошёл к Плащанице. Всегда тёмное лицо его, с тяжёлым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.

Широким, крепким раскатом он провозгласил:

«Пророчества Иезекиилева чтение…»

С волнением, и чуть ли не со страхом, читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось — как зашевелились мёртвые кости, облеклись живою плотью и… встал перед ним «велик собор» восставших из гробов…

С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду, — самую большую и красивую, из красного стекла, — мы затеплим перед Пасхальной Заутреней.

— Если не устал, — сказала мать, приготовляя творожную пасху («Ах, поскорее бы разговенье!» — подумал я, глядя на сладкий соблазный творог), — то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!

На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:

— Завтра Пасха! Пасха Господня!

Плащаница

Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затупило, заветрило и потяжелело.

— Будут стужи и метели, — зябко уверял нищий Яков, сидя у печки, — река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!

По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь, — чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.

— Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? — спросил меня Яков. — Не знаешь. «Светозар-День». Хорошие слова были у стариков. Премудрые!

Он опустил голову и вздохнул:

— Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдёшь. Все грехи сымутся!

— Хорошо-то оно хорошо, — размышлял я, — но жалко! Всё же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей… посмотреть, как солнце играет… яйца покатать, в колокола потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от неё поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Её Сына, и плакать…

А Он будет утешать Её словами: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… Возстану бо и прославлюся…»

Рядом со мною стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.

— Ты что такой мазаный? — спросил его.

Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:

— Десяток яиц выкрасил!

— У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! — указал Витька.

— Да ну? Поплюй и вытри!

Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо, и ещё пуще размазал его.

Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалёку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.

— Иди, вымойся, — шепнул я ему, — нет сил смотреть на тебя. Стоишь, как зебра!

На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют птицы и по реке ходит колышень:

«Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе. Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе».

Время приближалось к выносу Плащаницы.

Едва слышным озёрным чистоплёском трогательно и нежно запели: «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».

От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.

Смущённый и красный, прикоснулся свечой к её огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.

Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос её на середину церкви, в уготованную для неё гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почётные в городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!»

Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Всё понятно, и без того больно».

Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».

Когда всё было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели:

«Приидите, ублажим Иосифа Приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего… Даждь ми сего страннаго, его же ученик лукавый на смерть предаде…»

В большой задуме я шёл домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим Христе и святому Воскресению».

Двенадцать Евангелий

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от Страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.

— Евангельский огонь, — уверяла мать, — избавляет от скорби и душевной затеми!

Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:

— Ничего себе, но у меня лучше!

При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стёклами.

— Такой фонарь, — убеждал Гришка, — в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!

Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?

Свои опасения поведал матери. Она успокоила.

— В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому, — в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила!

Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарёй. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.

— Тихо-то как! — заметил матери.

Она призадумалась и вздохнула:

— В такие дни всегда… Это земля сострaждет страданиям Царя Небесного!..

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной, звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.

От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».

Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный, — и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь… После ектении, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих, и страждущих Господу помолимся» — на клиросе запели, как бы одним рыданием: *«Егда́ славнии ученицы́ на умовение вечери просвеща́хуся».*

У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете, — световидные и милостивые.

Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря вынесли тяжёлое, в чёрном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Всё стало затаённым и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.

С неутолимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия: «Слава страстям Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится тёплой и нежной. В её огоньке тоже живое и настороженное.

Во время каждения читались слова как бы от имени Самого Христа:

«Людие мои, что сотворих вам, или чем вам стужих: слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие мои, что сотворих вам и что Ми воздаете? За

манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко кресту Мя пригвоздиша».

В этот вечер, до содрогания близко, видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали и как Он прощался с Матерью.

«Слава долготерпению Твоему, Господи». После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен». «Разбойника благоразумного во единем часе раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и спаси».

С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни — идут из других церквей. Под ногами хрустит лёд, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на чёрном небе, таком просторном и Божественно мощном, много звёзд.

— Может быть, и там… кончили читать двенадцать Евангелий и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?

1934

В березовом лесу (Пасхальный этюд)

Б. Зайцеву

Вечерним берёзовым лесом идут дед Софрон и внучек Петька.

Дед в тулупе. Сгорбленный. Бородка седенькая. Развевает её весенний ветер.

Под ногами хрустит тонкий стеклянный ледок.

Позади деда внучек Петька.

Маленький. В тулупчике. На глаза лезет тятькин картуз. В руке красные веточки вербы. Пахнет верба ветром, снежным оврагом, весенним солнцем.

Идут, а над ними бирюзовые сумерки, вечернее солнце, гомон грачей, шелест берёз.

Гудит нарождающаяся весенняя сила.

Чудится, что в лесных далях затаился белый монастырь, и в нём гудит величавый монастырский звон.

— Это лес звонит. Берёзы поют. Гудёт незримый Господень колокол… Весна идёт, — отвечает дед и слабым колеблющимся голосом, в тон белым берёзам, вечерним сумеркам, смутному весеннему гулу поёт с тихими монашескими переливами: — Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный…

Кто-то величавый, далёкий, сокрытый в лесных глубинах подпевал деду Софрону.

Берёзы слушали.

— В церковь идём, дедушка?

— В церкву, зоренький, к Светлой Заутрени…

— В какую церкву?

— К Спасу Златоризному… К Спасу Радостному…

— Да она сгорела, дедушка! Большевики летось подожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головни одни.

— К Спасу Златоризному… К Спасу! — сурово твердит Софрон. — Восемь десятков туда ходил и до скончания живота моего не оставлю её. Место там свято. Место благословенно. Там душа праотцев моих… Там жизнь моя, — и опять поёт сумрачные страстные песни: — Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся…

— Чудной… — солидно ворчит Петька.

Вечерняя земля утихала.

От синих небес, лесных глубин, белых берёз, подснежных цветов и от всей души — весенней земли шёл незримый молитвенный шёпот:

— Тише! Святая ночь!..

— Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет… — пел дед Софрон среди белых утишных берёз.

Чёрной монашеской мантией опустилась ночь, когда дед с внуком подошли к развалинам Спасовой церкви и молча опустились на колени.

— Вот и пришли мы к Спасу Златоризному. Святую ночь встретить, — сквозь слёзы шепчет дед. — Ни лампад, ни клира, ни Плащаницы украшенной, ни золотых риз, ни души христианской…

Только Господь, звёзды, да берёзыньки…

Вынимает дед Софрон из котомочки свечу красного воска, ставит её на место алтаря Господня и возжигает её.

Горит она светлым звёздным пламенем.

Софрон поёт в скорбной радости:

— Христос воскресе из мертвых…

Слушали и молились Петька, небо, звёзды, берёзыньки и светлая душа весенней земли.

Похристосовался Софрон с внуком, заплакал и сел на развалинах церковки.

— Восемь десятков берёзовым лесом ходил в эту церковь. На этом месте с тятенькой часто стоял и по его смерти место сие не покинул. Образ тут стоял Спаса Златоризного… Ликом радостный, улыбчивый… А здесь… алтарь. Поклонись, зоренький, месту сему…

От звёзд, от берёз, свечного огонька, от синих ночных далей шёл молитвенный шёпот:

— Тише. Святая ночь!

Софрон глядел на звёзды и говорил нараспев, словно читал старую священную книгу:

— Отшептала, голуба-душа, Русь дедова… Отшуршала Русь лапотная, странная, богомольная… Былием заросли тропинки в скиты заветные…

Вечная память. Вечный покой.

Кресты поснимали. Церкви сожгли. Поборников веры умучили.

Потускнели главы голубые на церквах белых. Не зальются над полями вечерними трезвоны напевные…

Отзвонила Русь звонами утешными.

Не выйдет старичок спозаранок за околицу и не окстится истово за весь мир, на восток алеющий.

Девушки не споют песен дедовых.

Опочила Русь богатырская, кондовая, краснощёкая.

Вечная память. Вечный покой.

Не разбудит дед внука к заутрени, и не пошуршат они в скит далёкий по снегу первопутному, по укачливой вьюжине, навстречу дальнему звону.

Не пройдут по дорогам бескрайним старцы с песнями «О рае всесветлом», «О Лазаре и Алексии Божьем человеке»…

Отпели старцы. Отшуршала Русь лапотная…

Отшептала Русь сказки прекрасные…

Вечная память. Вечный покой.

Глядел дед Софрон на звёзды и плакал…

1926 Нарва

Светлая заутреня

Над землёй догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

— Это для чего?

— В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

— Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал её, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звёздами упадёт на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка

требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне…

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

— Да… часы на Спасской башне… Пробьют, — и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне — сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывёт над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

— Ты засыпаешь?

— Нет. На Москву смотрю.

— А где она у тебя?

— Перед глазами. Как живая…

— Расскажи ещё что-нибудь про Пасху!

— Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она ещё лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом — лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен — речка плещется. В неё таёжные дерева глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых брёвен. К Светлой заутрени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После Заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом — прилепляли свечи к деревянным кругляшам и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет — горькой вековушей останется!

Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывёт по воде, а тут ещё колокола трезвонят и лес шумит!

— Хватит вам вечать-то, — перебила нас мать, — высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене сонными!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно её спрашивал:

— Скоро ли в церковь?

— Не вертись, как косое веретено! — тихо вспылила она. — Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До Заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По тёмной улице плыли куличи в белых платках — только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутёмной церкви около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:.

— Читать умеешь?

— Умею.

— Ну, так начинай первым!

Я подошёл к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущённо опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

— Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?

— Попробовать хотел!..

— Ты лучше куличи пробуй! — И оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? — размышлял я. — Витает ли на небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лествица и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озёра, реки, птиц, человека, зверя и всё сотворённое святой Его волей, а святые поют «Христос Воскресе из мертвых»… Песня святых зёрнами рассыпается по земле, и от этих зёрен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши…

Время близилось к полночи. Ограда всё гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарём.

— Идёт, идёт! — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

— Кто идёт?

— Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!

И он грохнул…

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покаталось, а когда прошёл гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.

— Светловещанный звон! — сказал он и несколько раз перекрестился.

В церкви начали служить Великую полунощницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжёлую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное своё место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, — словно отваливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошёл к ним и сказал:

— Никогда не буду обижать вас!

Прижался к ним и громко воскликнул:

— Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб — артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на неё, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается». Пасха! Пасха Господня! — бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потёмками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла — стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Всё превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, — свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, — и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блёстках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжёлого льдистого снега: «Воистину Воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:

— Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос Воскресе!

Неподалёку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошёл к нему и сказал:

— Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка весёлого быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же и невидимый. Христос бо возста, веселие вечное…»

Сердце моё зашлось от радости, — около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошёл к ней, и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

— Христос Воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались… а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества… Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

1937

Солнце играет…

Борьба с Пасхальной Заутреней была задумана на широкую ногу. В течение всей Страстной недели на видных и оживлённых местах города красовались яркие саженные плакаты:

Комсомольская заутреня!
Ровно в 12 часов ночи.
Новейшая комедия Антона Изюмова
«Христос во фраке».
В главной роли артист
Московского театра Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия.

До начала спектакля по всем улицам города прошёл духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркестра ражий детина в священнической ризе и камилавке нёс, наподобие церковной хоругви, плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами. Город вздрагивал. К театру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы: «Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь грохотало радио, — из Москвы передавали лекцию «о гнусной роли христианства в истории народов».

По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомольцев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи-пророка,
Дайте лампу Ильича!

Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лесным рыком:

Три старушки-побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто-пусто в церковушке,
Не сберёшь и пятака.

— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!

Ах, яичко моё, да не расколото,
Много Божьей ерунды нам напороте!

— Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!

— Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!!

В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалёку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно. Людей не видно, — одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском: «Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небеси».

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошёлся, пустив вприскачку, с гиканьем и свистом:

Эй ты, яблочко, катись,
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.

Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели: «Христос Воскресе из мертвых…»

Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле — бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола, на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облачённый в дьяконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену, с лицом, искажённым и белым. Это ещё больше рассмешило публику.

В антракте говорили:

— Это цветочки… ягодки впереди! Вот погодите… во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота!

Во втором действии, под вихри исступлённых оваций, на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев.

Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нёс в руках золотое Евангелие.

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из заповедей блаженства. Медлительно и священнодейственно он подошёл к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнёс:

— Вонмем!

В зале стало тихо.

Ростовцев начал читать:

«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное… Блаженны плачущие, ибо они утешатся…»

Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами:

— Подайте мне фрак и цилиндр!

Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывая слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит.

Наконец, он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шёпотом, а потом всё громче и громче начинает читать дальше:

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут…»

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплёванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, — но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:

«Вы свет мира… любите врагов ваших… и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…»

Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги и раздавался громкий шёпот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк и сейчас, мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что всё превратится в весёлый и пляшущий дым!

Но на сцене произошло ещё более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю Советскую страну.

Ростовцев перекрестился чётким медленным крестом и произнёс:

— «Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..»

Он ещё что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес.

Через несколько минут публике объявили:

— По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится.

Пасха на рубеже России

Несколько лет тому назад я встретил Пасху в селе на берегу Чудского озера.

В Светлую ночь не спится. Я вышел на улицу. Так темно, что не видно граней земли и кажется: небо и земля — одна тёмная синяя мгла, и только в белом Ильинском храме горели огни. И такая тишина, что слышно, как тает снег и шуршит лёд, плывущий по озеру.

С того берега, где лежит Россия, дул тонкий предвесенний ветер.

Необычайная близость русского берега наполняла душу странным чувством, от которого хотелось креститься на Россию, такую близкую, ощутимую и вместе с тем такую далёкую и

недоступную.

Где-то ударили в колокол.

Звон далёкий, какой-то глубинный, словно звонили на дне озера.

Навстречу мне шёл старик, опираясь на костыль. Я спросил его:

— Дедушка! Где звонят?

Старик насторожился, послушал и сказал:

— В России, браток, звонят. Пойдем поближе к озеру, там слышнее.

Долго мы стояли на берегу озера и слушали, как звонила Россия к Пасхальной Заутрене.

Нет таких слов, чтобы передать во всей полноте сложную гамму настроений, мыслей и чувств, волновавших мою душу, когда я стоял на берегу озера и слушал далёкий пасхальный звон.

— Христос Воскресе, — шептал я далёкому родному берегу и крестился на Русскую землю.

1934

Иванушка

Умирал братец мой Иванушка. Ему было шесть лет. В больших муках умирал он. По деревенскому свычаю положили его под иконы, чтобы Господь облегчил его… Была пасхальная ночь. Отец к Светлой Заутрени пошёл, и братец всё время спрашивал нас:

— А тятя скоро придёт? Красное яичко… мне обещал…

Мать утешала его:

— Придёт, садик мой, придёт… Теперь уж скоро…

Личико его то затуманивалось, то вспыхивало тихими зорниками. Он постоянно ручки тянул к нам, словно на руки просился.

Он приподнял головку и к чему-то прислушиваться стал. Слушал долго, а потом сказал:

— Мама! Воробушки скачут!

В комнате прозвенело что-то похожее на упавшие стеклянные бусинки — это Иванушка засмеялся в бреду.

И стал он опять тосковать и метаться по постельке.

— Мама! Распутай нитки у меня на грудке…

Мать гладила его грудку и, как нищая на церковной паперти, стала всхлипывать:

— Вот… я ниточки распутываю… вот так… Будет Иванушке вольготно… Вот так!..

Вдруг братец опять приподнялся и радостно закликал:

— Тятя идёт!

Мы ничего не слышали — бредит Иванушка! Я посмотрел в окно. В конце улицы в рассвете пасхального утра шёл отец.

Только что он показался в дверях, Иванушка ручки вскинул навстречу, а ручки сухенькие и словно серебряные при металлическом утреннем свете. Эта серебряность особенно потрясла меня. Не в этой ли серебряности тела — смерть?

Отец взял Иванушку на руки, похристосовался с ним и стал носить его по комнате. Дали Иванушке красное яичко, но он не удержал его в ручке, и оно покатилось по полу. Глазами «большого» посмотрел на него и заплакал.

Положили Иванушку на постельку. Он закрыл глазки, а потом хрустнул горлышком, как речная тростинка, когда её в руке сожмёшь, и по-страшному затих.

Лицо матери стало серебряным. Отец послушал Иванушку и перекрестил его, сказав: «Царство Небесное!..»

В течение трёх дней приходили кланяться Иванушке сродственники наши, соседи... На Иванушку смотрели тихими церковными глазами:

— Ангельская душенька!

Тётка Прасковья сказала:

— Сейчас Господь за ручку его водит и сады Свои показывает...

Я представлял себе, как Господь водит Иванушку по небесным дорогам. Он говорит Иванушке также, поди, воркотно и светло, как соборный батюшка отец Владимир: «Вот и хорошо, родненький, что ко Мне пришёл! Так, так, Иванушка... Ты уж того... побегай, поиграй!.. Радуйся в саду Моём во веки веков...»

Говорит ему Господь и по головке гладит Иванушку, и благословляет его пронзёнными распятием руками, а Иванушка к белой одежде Господа головкой прижимается...

Представил я это до того живо и трогательно, что и самому захотелось помереть.

Стал я вспоминать нашу с Иванушкой жизнь. Всё в ней как будто бы хорошо было, но вот однажды попросил он у меня волчка, а я пожадничал и не дал ему... Стало мне очень горько. Тут впервые в жизни я понял, что за мука страшная — угрызение совести!..

Положили братца в белую храмину (не хотела мать произносить слова «гроб»). Пришёл нищий Яков и для назидания и утешения нашего прочитал из Евангелия главу, где говорилось о Христе, благословляющем детей, и о наследии ими Царства Небесного.

Я незаметно положил под изголовье Иванушки волчка и тихо сказал:

— Ты прости меня... я не знал, что ты помрёшь...

На третий день Пасхи понесли братца хоронить. В церкви украсили лобик его золотым венчиком с надписью «Святый Боже» — в знак упования, что и там... увенчает его Господь венцом небесным. На панихидный столик поставили кутью из зёрен — как зерно с виду мёртвое, но брошенное в землю восстаёт к жизни, так и мёртвое тело воскреснет при трубе

Архангела.

Отпевали Иванушку по-особенному, по пасхальному чину, радостно, в белых ризах, с пасхальной серебряной свечою. Отправляли братца в дорогу с сердцем легким и мирным, без нахмуренной скорби. Читали и пели хорошие лёгкие слова и часто, часто повторяли: «Господи, упокой младенца!»

«Небесных чертогов и светлого покоя… причастника сотвори чистейшаго младенца…»

«Рая жителя тя показует, блаженный воистину младенче… Ликом святых счиняет тя…»

Сравнивали Иванушку «с младым злаком», Господом пожатым, чтобы возвести его от земли на Божественную гору.

«О мне не рыдайте, — говорил братец словами исходной песни, — а радуйтесь…»

Наступило «последнее целование». Мы прощались с Иванушкой, целовали лобик его, освещённый солнцем, а в это время пели: «О чадо! Кто не восплачет зря твое ясное лице увядаемо… Яко же бо корабль следа не имый, сице зашел еси от очию скоро…»

Священник сказал:

— Вечная твоя память, достоблаженне и приснопоминаемый младенче Иоанне…

Все было в церковном дыму и в солнце. В причтовом саду летали птицы. Они садились на старые деревья, и ветки качались.

Посыпали Иванушку землёю и сказали: «Господня есть земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней…»

Мы были люди бедные и никак не думали, что батюшка скажет надгробное утешительное слово, но батюшка пожалел нас и сказал проповедь, в которой очень понравились слова: «Блаженно детство: оно наследует рай!»

Мать обносила кутью и каждому говорила:

— Помяните младенца!

Брали ложечку кутьи, крестились и отвечали:

— Помяни, Господи, ангельскую душеньку!..

А когда выносили гробик из церкви, то над всем городом трезвонили пасхальные колокола, все снимали шапки, встречные офицеры и даже городовые отдавали Иванушке честь. Я подумал: «Хорошо бы и мне помереть!»

Когда опускали Иванушку в яму и так крепко, словно деревенским ржаным хлебом, запахло землёю, освещённой пасхальным солнцем, я пожалел Иванушку: «Пожил бы ты ещё, милый братец!»

Я бросил на крышку гроба горсточку земли «на лёгкое ему лежание». Пальцы мои пахли землёю, и я почти с криком подумал: «Земля-то как хорошо пахнет, а братца моего нет!»

Радуница

Есть такие дни в году, когда на время воскресают мёртвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребёнными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Всё время поют «Христос Воскресе» и вместо «надгробного рыдания» раздаётся пасхальное «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».

Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для разговен усопших. Радуница — пасха мёртвых!

Хорошее слово «Радуница». Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зелёных стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и уже всё видишь и слышишь, что заключено в нём. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся… Вот, например, слово «ручеёк». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеёк журчит между камешками!

Или другое слово — «зной». Зачнёшь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.

Произнёс я слово — «вьюга», и в ушах так и завыло это зимнее, лесное: ввв-и-ю…

Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд — гром, и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.

В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством: «Хорошо быть русским!»

Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и всё живое вместе с мёртвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений: «Со духи праведных скончавшихся».

«Воскресение День просветимся, людие».

«Смертию смерть поправ…»

«Вечная память…»

На многих могилках совершались «поминки». Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках как о живых людях, ушедших на новые жительные места.

Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили:

— Христос Воскресе!

Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.

— Жизнь бесконечная… Все мы воскреснем… Все встретимся… — доносились до меня слова

священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку. На них шикали и внушали «нехорошо», а они задумаются немножко и опять за своё.

Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:

— Ишь они, бессмертники!..

— Да шумят уж очень… Нехорошо это… на кладбище…

— Пусть шумят… — опять сказал батюшка, — смерти празднуем умерщвление!..

На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:

— Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды…

— Это мы знаем, — сказал кто-то из толпы.

— Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому — чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.

В течение двух дней душа вместе с Ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих и бывает подобна птице, неимущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.

— А в девятый? — спросила баба.

— В этот день Ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных…

В это время пьяный мастеровой в зелёной фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:

— А как же пьяницы? Какова их планида?

— Пьяницы Царствия Божия не наследуют! — отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Всё стало в нём ненавистно, даже усы его, щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой:

— Недостойные мы люди… — всхлипывал он, — мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском и на Крест пошёл вместе с разбойниками!..

Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: «Слезы да покаяние двери райские отверзают…»

Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал как пристав:

— Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать… греховодник!

…В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а засим возносится опять к Богу и получает место до Страшного Суда Божия…

«И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? — думал я. — Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое её слово светиться будет… Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи… чтобы они драгоценным камнем стали…»

Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопа, говорила:

— Живёт, матушка, в одной стране… птица… и она так поёт, что, слушая её, от всех болезней можно поправиться… Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и Радуница затихала. Всё реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти, ещё не угасшие пасхальные сумерки:

— Христос Воскресе из мертвых…

Отдание Пасхи

В течение сорока дней в церкви поют «Христос Воскресе».

— В канун Вознесения, — толковал мне Яков, — Плащаницу, что лежала на престоле с самой Светлой Заутрени, положат в гробинцу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего Велика Дня… Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!

Я очень огорчился и спросил Якова:

— Почему это всё хорошее так скоро кончается?

— Пока ещё не всё кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что ещё раз можно услышать Пасхальную Заутреню… на днях!

Меня бросило в жар.

— Пасхальная Заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черёмуха цветёт? Врёшь ты, Яков!

— Ничего не вру! День этот по-церковному называется «Отдание Пасхи», а по-народному — прощание с Пасхой!

Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.

— Ну и болван же ты, — сказал дворник, — что ни слово у тебя, то на пятачок убытку! Постыдился бы; собаки краснеют от твоих глупостев!

Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.

Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка!»

А мать выговаривала мне:

— Не произноси, сынок, чёрных слов! Никогда! От этих слов тёмным станешь, как эфиоп, и Ангел твой, что за тобой ходит, навсегда покинет тебя!

И обратилась к отцу:

— Наказание для ребят наша улица: казёнка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше да садов… Нехорошо, что в город мы перебрались! Жили бы себе в деревне…

Перед самым Вознесением я пошёл в церковь. Последнюю Пасхальную Заутреню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальною свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.

Всё было так же, как в Пасхальную Заутреню ночью, — только свет был утренний да куличей и шума не было, и когда батюшка возгласил народу: «Христос Воскресе», не раздалось этого весёлого грохота: «Воистину Воскресе!»

В последний раз пели «Пасха священная нам днесь показася».

После Пасхальной Литургии из алтаря вынесли святую Плащаницу, положили её в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.

И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.

Я стал считать по пальцам, сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать… очень и очень много месяцев!

После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:

— Доживём ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идёшь! Доскачешь! А вот я — не знаю. Пасха! — улыбнулся он горько, — только вот из-за неё не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!

Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищебродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.

— В древние времена, — рассказывал Яков, — после обедни в Великую Субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой Заутрени, слушая чтение Деяний апостолов…

Когда я был в Сибири, то видел, как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведённой Христом при дворе Пилата…

Тоже вот; когда все выходят с крестным ходом из церкви во время Светлой Заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.

Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на неё и заботливо сказал:

— Смех твой — это слёзы твои!

Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.

Во время беседы пришёл бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и Апостола по большим праздникам и про которого говорили: «Страшенный голос».

Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.

— Да, мало что знаем мы про свою Церковь, — начал он, — а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у Царских врат на аналое в Пасхальную седмицу?

— Артос! — почти одновременно ответили мы с Яковом.

— Правильно! Называется он ещё также «просфора всецелая». А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена во время трапезы на столе ставили прибор для Христа, в знак невидимого Его сотрапезования…

— А когда в церкви будут выдавать артос? — спросила женщина и почему-то застыдилась.

— Эка хватилась! — с тихим упрёком посмотрел на неё Яков. — Артос выдавали в субботу на Светлой неделе… К Вознесению, матушка, подошли, а ты — артос!

— Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, — попросила она, — я хранить её буду!

Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.

— Вот поют за всенощным бдением «Свете тихий»… А как произошла эта песня, никто не знает…

Я смотрел на него и размышлял: «Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!»

— Однажды патриарх Софроний, — рассказывал Семиградский, словно читая по книге, — стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет (подумал он) падал на лице Его, и также колебался золотой воздух Палестины…

Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце — Христа, и это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении:

— Свете тихий, святыя славы…

«Обязательно с ним подружусь!» — решил я, широко смотря на Семиградского.

В это день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свете тихий, святыя славы».

Свеча

Вечерним лесом идут дед Софрон и внучек Петька.

Дед в тулупе. Сгорбленный. Борода седая. Развевает её весенний ветер.

Под ногами хрустят ломкие подзимки.

Петька шагает позади деда. Ему лет восемь. В тулупчике. На глаза лезет тятькина шапка. В руке у него верба, пахнущая ветром, снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым солнцем.

Лес гудел нарождающейся весенней силой. Петьке почудился дальний звон. Он остановился и стал слушать.

— Дедушка!.. Чу!., звонят…

— Это лес звонит. Гудит Господень колокол… Весна идёт, оттого и звон!.. — отвечает дед.

Петька спросил деда:

— В церкву идём, дедушка?

— В церкву, любяга, к Светлой Заутрене!

— Да она сгорела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головни одни…

— Ничего не значит! — сурово отвечает Софрон.

— Чудной!.. — солидно ворчит Петька, — церкви нетути, а мы бредём! Мара́, что ли, на деда напала? Сапоги только истяпаем!

Среди обгорелого сосняка лежали чёрные развалины церкви. Дед с внуком перекрестились.

— Вот и пришли… — как бы сквозь взрыд сказал Софрон. Он долго стоял, опустив голову и свесив руки. Приближалась знобкая, но тихая пасхальная ночь. Софрон вынул из котомки толстую восковую свечу, затеплил её, поставил на камень, среди развалин. Помолился в землю и запел:

— Христос воскресе из мертвых…

Похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно.

— Да… Шесть десятков лет ходил сюда. На этом месте с тятенькой часто стоял, и по его смерти место сие не покинул. Тут икона святителя Николая стояла… В одной ручке угодник церковочку держал, а в другой меч… И, бывало, что ни попросишь у него, он всегда подаст тебе!… До-о-брый Угодник, послушливый да зовкий!.. Да, вот… А тута, любяга, алтарь стоял… Встань на колешки и поклонись, милой, месту сему… так вот… Эх, Петюшка, Петюшка…

Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того долго, что Петьке захотелось спать. Он сел с дедом рядышком и опустил голову на его колени, а дед прикрывал его полою тулупа.

Лесник Гордей

Предвесенним ветреным днём в чайную у большой дороги пришёл лесник Гордей; без шапки, в мокрых валенках и дырявом армяке. Седые волосы взвихрены ветром. Встал у двери. Развёл красными обветренными руками и сказал тёмной чайной, словно в бреду или в опьянении:

— Я говорю ему, тихо так да душевно: «Почто, сыне мой, душу свою очернил?»

— О чём ты, дедушка? — спросили из-за стола.

Лесник обвел испуганными глазами низкий прокопчённый потолок, пухлого хозяина Архипа,

полки с белыми чайниками, людей в синем табачном дыму и ответил с горькой улыбкой:

— О сыне, Фёдоре Гордеевиче…

— С города приехал? Ну и слава Богу, тебе, старому, помога. А ты тосковал по нём! — сказал кто-то.

— Приехал… да… приехал, но не тот. Сын мой Федя умер! Умер ласковый монастырский Федя, а явился другой: душою чёрен, образом угрюм, табашник и сквернослов!

Чайная не слушала Гордея, а он жаловался:

— Говорю я сегодня Фёдору моему: «Пойдём, как встарь, в Николину обитель на вынос Плащаницы. Помнишь, как утешно поют там монахи: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго», а он мне в ответ: «Не желаю! Один у монахов обман, я лучше на гармошке сыграну…» Ах, братцы, как он пронзил моё сердце этими словами! Не к добру Ласка моя всю ночь выла, не к добру!.. Как всё это горестно, братцы! Ждал его. Тосковал. Сапоги сшил ему новые. Утехой, полагал, будет в старости моей, а он… Плащаницу на гармонь, Евандель на цигарки!..

Гордей вышел на середину чайной.

— Прискорбная душа моя, други! Научите, как сына моего образумить?

— Гордей-то, кажись, в разуме замутился! — качнулись чьи-то слова.

— Замутишься! Жил себе как лесной схимник. Лампадочка да псалтырь, лес да Господь, а тут — на тебе, старый, на утешение: табак да гармошку!

— Архип! — кивнули засыпающему хозяину, — нельзя ли грамохончиком нас утешить? Наставь пластиночку про Бима и Бома!

Сквозь хриплый жестяной хохот Гордей жаловался прокуренной и хмельной чайной, обводя всех спрашивающими глазами:

— Я его, Федю-то, сызмальства учил читать по святой старинной книге, по благословенным местам водил… Был он тихим, как монашек, а теперь говорит: «Не желаю!» В обители к выносу Плащаницы благовестят, а он на гармонии играет! Сыне мой, почто душу свою очернил? Али я тебя не пестал, али я тебя не берёг?

Гордей подошёл к хозяину и пытливо спросил его:

— Есть у тебя дети?

— Растут два оболтуса, — лениво буркнул тот, укладывая голову на прилавок.

— Веруют они в Бога и святую Его книгу?

— Не знаю. Наше дело торговое!

— Спокойный ты человек, — покачал головой лесник, — а я вот так не могу. Болит душа моя о сыне заблудшем…

От хозяина Гордей перешёл к ражему парню:

— Объясни ты мне…

— Отстань, борода! Я холостой! Не мешай Бима и Бома слушать!..

Лесник останавливался то перед одним, то перед другим, прося у чайной утешных слов. Молча и скорбно потоптался на месте, а потом вышел на ветреную улицу и поплёлся размытой дождями дорогой к чернеющему лесу.

Шёл по лужам, размахивал руками и сам с собою разговаривал.

Остановился посередине дороги. Поднял лохматую голову к затученному небу — не то молился, спрашивал, глядел ли, как плыли тучи?

Заглянул в лес и опять повернулся к чайной, словно испугался своей избы, шума деревьев и гармошки сына.

Пришёл в чайную и принёс те же слова, ту же тоску и те же беспокойные глаза.

— Дядя, — позвали его, — плюнь на всё! Иди глотни из бутылочки смоленского самогону. Сразу запляшешь!

— Непьющий я. Мне бы душевного человека на манер старца, — с ним бы побеседовать!

Подошёл к Гордею ражий парень, взял его за руки и усадил на скамью.

Сидел он до тех пор, пока не вошли в чайную глубокие вечерние тени и не стало в ней ни одного человека.

Архип взглянул на старика, и что-то похожее на жалость затеплилось в его глазах. Он хотел было подойти к нему и утешить, но не нашёлся что сказать ему, а лишь молча поставил перед ним стакан чаю.

Алтарь затворённый

В глубине большого сибирского леса звонили. Звон ясный, прохладный, как далекое журчание родника. Словно заря с зарёю, он сливался с густым шумом апрельского леса, вечерними туманами, лесными озерками талых снегов, с тонким звенящим шелестом предвесенья.

Я затерялся в лесной чаще и пошёл навстречу звону. В белом круге тонких берёз показался убогий монастырский скит. Вечернее солнце золотило бревенчатый храм. В пролёте колокольни седая, в чёрной скуфье, голова звонаря.

Я вошёл в святые врата обители и сел на скамью. На колокольне отзвонили. Ко мне подошёл седой инок.

— Звонарь Антоний, — сказал он и уставно поклонился. — Редко кто заходит в нашу обитель… Видите, каково запустение.

— Много ли у вас братии? — спрашиваю.

— Кроме меня, никого. Все ушли в страну далечу… Кто лесной суровости не выдержал и в мир ушёл, а иные смерть мученическую прияли…

Года три назад пришли к нам в ночь на Успенов день… Очень били нас. Глумились. Иконы штыками прокалывали… В ту ночь расстреляли они схимника Феоктиста, иеромонаха Григория, иеромонаха Македония, иеродьякона Сергия, послушника Вениамина…

Он посмотрел на близлежащее скитское кладбище.

— Теперь один я здесь! По-прежнему звоню, молитвословлю, в огороде копаюсь, в лес за дровами хожу…

— А не боитесь, что на ваш звон опять придут сюда?

— Пусть приходят, но я устава нашего не преступлю… Одно прискорбно, что много лет, как затворены врата в алтарь Господень и некому совершить литургию…

На время задумался, опустив голову, а потом опять вскинул на меня золотые от заката глаза и сказал:

— Завтра Великий Понедельник! Ежели можешь, то пойдём со мною молиться…

Мы ступили в завечеревшую церковь.

Антоний затеплил свечи перед затворёнными вратами алтаря и стал на клирос. Свечи осветили пронзённые штыками старые иконы.

Началась великая Страстная утреня.

Вся русская земля зазвучала в древнем каноне Страстной седмицы:

«Непроходимо волнующееся море… Божиим своим велением иссушившему…»

1927

Причащение

В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю, варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному — не то кипарисом, не то свежим тёсом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.

— Это не по-деревенски, — говорила она, — не по нашему свычаю!

— А как же у Григорьевых, — спросишь её, — или у Лютовых? Красятся они у них в самый разный цвет, и такие приглядные, что не наглядишься!

— Григорьевы и Лютовы — люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, свычаи от Самого Христа идут…

Я нахмурился и обиженно возразил:

— Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.

— А ты не огорчайся! Махни на них ручкой и вразуми: деревня-то, скажи, Божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое — не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего: «форсить!» Деревенского языка не бойся, — он тоже от Господа

идёт!

Мать вынула из чугунка яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнёздышко, перекрестила их и сказала:

— Поставь под иконы. В Светлую Заутреню святить понесёшь…

На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его чёрным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:

— Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья!

Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил её в ладонь и пил, — говорят, что от неё голова болеть не будет…

Под деревьями лежал источенный капелью снег, и, чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатою по солнечным дорожкам.

В десять часов утра ударили в большой колокол, к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.

Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки.

Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы), и каждый камень и камешек будет тёплым от солнца.

В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се Жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.

Вчера и раньше всё напоминало Страшный Суд. Сегодня же звучала тёплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?

Священник был не в чёрной ризе, а в голубой. Причастники стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони — особенно девушки.

На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:

— Чудесная русская вышивка!

Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.

Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед Великим выходом: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое».

«Причастника мя приими…» — высветлялись в душе серебряные слова.

Вспомнились мне слова матери: «Если радость услышишь, когда причастишься, — знай, это Господь вошёл в тебя и обитель в тебе сотворил».

С волнением ожидал я Святого Таинства.

— Войдёт ли в меня Христос? Достоин ли я?

Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотою Чашей и раздались слова:

— Со страхом Божиим и верою приступите!

Из окна прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.

Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошёл к Чаше. Слёзы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите, Источника бессмертного вкусите».

По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук, — прижимал вселившуюся в меня радость Христову…

Мать и отец поцеловали меня и сказали:

— С принятием Святых Тайн!

В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, — самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея тайныя… причастника мя приими».

И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу:

— Пускай доживал бы крохотные свои дни!

После долгого чтения часов с коленопреклонёнными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидиши во царствие Твое…»

Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «Преждеосвященная» началась не так, как всегда…

Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: «Ве-с-н-а!» Подошёл к амвону. Опустил руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по руке бегали «зайчики». Я старался - покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься.

После чтения первой паремии открылись Царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошёл священник с зажжённой свечой и кадилом. Он крестообразно осенил коленопреклонённых святым огнём и сказал: «Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех…»

Ко мне подошёл приятель Витька и тихо шепнул:

— Сейчас Колька петь будет… Слушай, вот где здорово!

Колька живёт на нашем дворе. Ему только девять лет, и он уже поёт в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением.

И вот вышли на амвон три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами и так напомнили трех отроков-мучеников, идущих в печь огненную на страдание во имя Господа.

В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.

Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя… Яко кадило пред Тобою… Вонми гласу моления моего…»

Колькин голос, как птица, взлетает всё выше и выше и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьётся на мелкие хрусталинки.

Я слушаю его и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь… Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: «Ай да Вася! Ай да молодец!» И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын…»

Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках.

Витька — первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на голубых мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему:

— У тебя золотой волос!

Витька не расслышал и ответил:

— Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел!

К нам подошла старушка и сказала:

— Тише вы, баловники!

Во время Великого входа вместо всегдашней «Херувимской» пели:

«Ныне силы небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершéна доринóсится».

Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенёс Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже и певчие.

А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовию приступите, да причастницы жизни вечныя будем». По закрытии Царских врат задёрнули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным.

Витька мне шепнул:

— Иди скажи сторожу, что занавеска не задёрнулась!..

Я послушался Витьку и подошёл к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника.

— Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так…

Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул:

— Тебя забыли спросить! Так полагается…

По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу:

— Подснежников там страсть! — взвизгнул он.

Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи и громко, вразлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя», и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше.

А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу… А что кричали, для чего кричали — мы не знали.

Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь: «Да исправится молитва моя».

Крещение человека (Из цикла «Семь Таинств»)

Перед обедней крестили младенца. Дьякон поручил мне разжечь кадило, а сам он записывал в книгу имена родителей и восприемников крещаемого. Младенец вопил на всю церковь, и толстая простодушная кума укачивала его и пела, вначале тихо и сквозь зубы, а потом всё громче и смелее:

Баю-баюшки-баю.
Я шелками обовью.

Дьякон мохнато посмотрел на куму и сказал:

— Воздержись!

Высокий суховидный кум с тёмными, вспученными тяжёлой работой руками был выпившим. Дьякон сделал ему замечание.

— Мог бы и после крестин!.. Твоё звание?

— Михаил Могилкин, по прозванию «Труба»!

— Я не про это! Чем занимаешься?

— Кочегар на пароходе «Моряк»!

— Как желаете наименовать младенца?

— Гаврилой!

— Гавриилом, — поправил его дьякон и сделал кляксу, которую выругал: «Ах, чтоб тебя, окаянная!..»

В это время младенец завопил таким крепким рёвом, что дьякон поднял брови и покачал головой:

— Ваш младенец-то не протодьякон случайно?

Михаил Труба не расслышал дьяконской шутки и почтительно ответил:

— Так точно!

Сторож поставил посредине церкви медную купель, похожую на большую Христову чашу, и на особый столик положил серебряный ковчежец-мирницу, свечи, требник и белое, крестами вышитое полотенце-ручник.

Из алтаря вышел священник в епитрахили и стал совершать чин оглашения.

В одной из молитв священник назвал младенца новоизбранным воином Христа Бога и молил Владыку и Господа дать ему Ангела Хранителя. Священник склонился над ребёнком, трижды подул на него и сказал: «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его».

«Для чего он дует-то?» — подумал я и очень обрадовался, когда вспомнил библейские слова: «Вдунул Бог в лицо Адама дыхание жизни».

Младенец успокоился от горького своего плача, и мне почудилось, что это Ангел его успокоил! Я не раз видел, как улыбался во сне мой грудной брат, и мать говорила мне:

— Это Ангел в переглядушки с ним играет!

Вспомнилась мне картина у дяди Ивана на Волге, в Калязинском уезде: у забора лежит пьяный человек, а рядом с ним стоит Ангел с опущенной головой и преогорчённо плачет.

И другая картина, на ярмарке виденная: по гнилым жёрдочкам переходит речную быстрину ребёнок, а позади его Ангел Хранитель.

Пословица русская вспомнилась: «Где просто, там Ангелов со ста, а где мудрено, нет ни одного».

Священник попросил восприемников обратиться лицом к западу и трижды спросил их: «Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?»

И восприемники трижды ответили:

— Отрицаюся!

В знак сочетания с Христом им прочитали Символ Веры:

— Приготовьтесь к Таинству Крещения! — шепнул дьякон восприемникам.

— Отреши его ветхость и обнови его в жизнь вечную, и исполни его Святаго Твоего Духа, — молился священник за младенца.

Крёстная мать положила Гавриила на скамью и стала раскутывать его от одеяла и пелёнок. Я подошёл поближе и не мог не порадоваться тому, как младенец тихо так старался посмотреть

не на одно что-либо, а сразу на всё. В это время в церкви стояло солнце. Хотя оно и раньше было, с самого заранья, но я обратил особенное на него внимание только сейчас. Солнце близко подошло к младенцу, склонилось над ним, как священник, и стало гладить его по голове.

В знак духовной радости на чашеобразной купели зажгли три белые свечи, и восприемникам тоже дали по свече. Священник облачился в светлую ризу и руки опоясал серебряными поручами. Подвыпивший Михаил Труба растрогался и всхлипнул.

Священник читал молитву о неизреченном величии Божьем, бесконечной любви Его к роду человеческому и наитии Святого Духа на крещенскую воду:

«Ты убо человеколюбче Царю, освяти воду сию!»

Священник трижды благословил золотую от солнца воду, погрузил в нее пальцы, сложенные для благословения, и три раза подышал на неё при словах: «Да сокрушатся под знамением образа креста Твоего все сопротивныя силы!»

Из серебряной «мирницы» священник взял тонкий помазок, обмакнул его в священный елей — миро и начертал на воде незримый троекратный крест: «Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мір!..»

Священник склонился над голеньким ребёнком и крестовидно стал помазывать тело его: «Помазуется раб Божий Гавриил елеем радования, во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Когда «мирили» ноги младенца, освещённые в это время солнцем, то произносили: «Во еже ходити ему по стопам заповедей Твоих!»

Мне почему-то вспомнилось миропомазание царей, о котором в книжке читал, и не мог сдержаться, чтобы не шепнуть церковному сторожу:

— Видишь ли, как царя помазуют… Гаврюшку-то!

Голенького помазанника батюшка взял на руки и погрузил в купель:

— Крещается раб Божий Гавриил!..

Омытого водою радования и света, облачили его в белые ризки, крестик на него повесили на голубой ленточке и пели радостными голосами: «Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом, яко ризою!»

Читал Евангелие о прощальном заповедании Христа идти в мир и крестить всех людей во имя Его, произносилась ектения о милости, жизни, міре, здравии и спасении новопросвещенного младенца Гавриила. Читались чудесные, вспыхивающие огнями слова о небесном осиянии крещаемого и сподоблении его жизни вечной.

«Как пророк Самуил благословил царя Давида на царство, так благослови и главу раба Твоего Гавриила! » — читалось ему на прощание.

А потом постригали его и этим самым отдавали в руки Божии.

В церкви погасили свечи, и бережно закутанного Гаврюшу понесли в жизнь.

Дьякон посмотрел ему вослед и сказал:

— Что-то даст ему Господь? Будет ли он великим светильником Церкви, полководцем, мыслителем, купцом али… Но не будем предугадывать пути Господни!.. Мне почему-то сдаётся, будет он протодьяконом Исаакиевского собора!.. Слышал, какой голосище-то у него?

1939

Под колоколами

Вешним вечером сидели мы с глухим звонарём Осипом на колокольне под большим колоколом и ждали, когда крикнет сторож Иона из берёзовой ограды: «Эй, звонари, трезвонь к Евангелию!»

В древней церкви шла всенощная в похвалу Николы Вешнего. На паперти, в зелёном круге полевых просторов, перелесков, дымных голубых далей, духовенство посёлка Белого служило литию. Медленно гасло небо.

Гудели старые монастырские напевы, завивая землю молитвенным утишием.

Осип низко опустил голову, весь спрятался в полушубке и думал о чём-то. Не о своей ли глухоте, что мешала слышать тихий лёт песнопений. Иногда подымал голову, спрашивал:

— Звонить?

Я качал головой, — рано ещё…

Осип смотрел, как ныряли в пролёты колокольни голуби, улыбнулся и зыбко запел:

— Свете тихий… святыя славы…

Колокольня Николы Утешного — высокая, старинная, при царе Иоанне Грозном воздвигнутая. На мшистой почерневшей стене чья-то неведомая рука навеки выбила славянскую вязь: «Лето 1556. Благовествуй земле радость велию».

Лестница на колокольню крутая и скрипучая. Когда поднимаешься по её исхоженным ступеням, невольно думаешь о пяти столетиях, прошумевших над колокольней, о старой Руси и о звонарях, много веков «благовествовавших земле радость велию».

Колокола…

Большой, «малиновый» — ударишь ладонью по чёрным его «щекам», так и загудит далёкими перекатами грома.

«Воскресный» — златозвонный, переливный, словно солнцем пронизанный.

«Великопостный» — строгий чернец. В гудах его — предвесенний вечер, таяние снегов, покаянные вздохи, звездистый свет четверговых свечей.

Маленькие колокола «наигрыши» — стеклянный детский говор…

За колокольней, тихой, как Богова келия, запели:

— Ныне отпущаеши…

Осип засмеялся. С ним это часто. Засмеётся ни с того ни с сего.

Господь его знает, с какой поры он стал юродивым. Сказывают, с того времени, когда с Борисо-Глебского собора в городе снимали золотые кресты, иконы на стенах закрашивали и над входом прибивали вывеску: «Народный дом товарища Ленина».

Толкнул меня Осип под локоть.

— Слышал? В селе Воронье крестный ход ходил к Николе Народолюбцу. Ну, а озорники камнем запустили в образ Спаса Нерукотворного. Слышь, камнем! Стекло-то разбилось и слёзками на землю посыпалось. Как же это так, а?

Закрыв лицо землистыми ладонями, Осип продолжал, не то смеясь, не то придушенно плача:

— В Покровском церковь совсем закрыли. Сиротой стоит. Ни панихидки отпеть, ни так помолиться. В ограде парни с девками балуются, гармонь, лясы да плясы. Что ж это, а? Как же это можно, чтобы заместо колоколов гармонь, скажем?

Пытливый, скорбный голос бился о колокола, и они гудели.

Под колебание меди Осип говорил не то с самим собой, не то с потревоженными колоколами:

— Был я онамеднясь в городе. Зашёл «за нуждою». Гляжу — на полу листы с буквами церковной печати! Подымаю. Не поверишь ли, листы из Еванделя. Слышь — Еванделя! Как же это, а?

Мерцал утишный вечер. В ограде шелестели берёзы. Ворковали голуби, и по зелёным ржаным полям пробегал ветер. На колоколах пылало затихающее солнце.

— Собрал я святые листочки, на реке перемыл, связал их бечёвкой да и пустил в воду. Пускай, думаю, плывут слова Божьи от человечьего поругания…

И после долгого раздумья тихо добавил:

— В набат порой ударить хочется. Ночью ударить, всех пробудить… Душе моя, душе моя, возстани, что спиши? Конец приближается! Как же, — с храмов Господних святые кресты снимать, да как это можно камнем, в Божие милосердие! Чует моё сердце, — не к добру сие поругание. Большая от того скорбь произойдёт!..

Крикнул сторож Иона в берёзовой ограде:

— Эй, звонари! Трезвонь к Евангелию!..

1926

Весенний хлеб

В день Иоанна Богослова Вешнего старики Митрофан и Лукерья Тараканови готовились к совершению деревенского обычая — выхода на перекрёсток дорог с обетным пшеничным хлебом для раздачи его бедным путникам.

Соблюдалось это в знак веры, что Господь воззрит на эту благостыню и пошлёт добрый урожай. До революции обетный хлеб испекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и в выносе его на дорогу участвовала вся деревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шёпотной молитвой о ниспослании урожая. Хлеб нёс самый старый и сановитый насельник

деревни.

Теперь этого нет. Жизнь пошла по-новому. Дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. Только от них ещё услышат, что от Рождества до Крещения ходит Господь по земле и награждает здоровьем и счастьем, кто чтит Его праздники; в Васильев день выливается из ложки кисель на снег, с приговором: «Мороз, мороз! Поешь нашего киселя, не морозь нашего овса». В Крещенский сочельник собирается в поле снег и бросается в колодец, чтобы сделать его многоводным; в Прощёное воскресенье «окликают звезду», чтобы дано было плодородие овцам; в Чистый понедельник выпаривают и выжигают посуду, чтобы ни згинки не было скоромного; в Благовещенье Бог благословляет все растения, а в Светлый день Воскресения Юрий — Божий посол — идёт к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу «на Белую Русь и на весь свет».

На потеху молодёжи старики Таракановы говорят старинными, давным-давно умершими словами. У них: колёсная мазь — коляница, кони — комони, имущество — собина, млечный путь — девьи зори, приглашение — повещанки или позыватки, запевало — поминальник, погреб — медуша, шуметь на сходе — вечать, переулки — зазоры.

Речь свою старик украшает пословицами и любит похваляться ими; так, бывало, и сеет старинными зернистыми самоцветами.

Соседу, у которого дочь на выданье, скажет:

— Заневестилась дочь, так росписи готовь!

Про себя со старухою говорит:

— Только и родни, что лапти одни!

Соседского сына за что-то из деревни выслали, и старик утешал неутешную мать:

— Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, подумаешь — горе, а раздумаешь — воля Божья!

Бойким весёлым девушкам тихо грозит корявым пальцем:

— Смиренье — девушки ожерелье.

Баба жаловалась Митрофану на нищее житьё своё, а он наставлял её:

— Бедная прядёт, Бог ей нитки даёт!..

Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими глазами, старую песню любила пестовать. Послушает она теперешние вроде «О, эти чёрные глаза» и горестью затуманится:

— В наше время лучше пели, — скажет со вздохом и для примера запоет причетным голосом:

Ах ты, матушка Волга-реченька,
Дорога ты нам пуще прежнего,
Одарила ты сиротинушек
Дорогой парчой, алым бархатом,
Золотой казной, жемчугами-камнями…
И в долгу-то мы перед матушкой,

И в долгу большом перед родненькой.

К выносу на дорогу «обетного хлеба» Митрофан и Лукерья готовились с тугою душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне муку для «обычая», но никто ничего не дал, только на смех подняли.

Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. Пока он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.

В полдень стали готовиться к выносу. Хлеб задался румяным и наливным. Старуха перекинула его с руки на руку и сказала:

— Хышь на царскую трапезу!

Старик постучал по загаристой корке и высловил:

— Сущий боярин!

Хлеб положили на деревянное блюдо, перекрестили его и покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на обе руки. Лукерья открыла дверь и сказала вслед:

— Как по занебесью звёздам несть числа, дак бы и хлебушка столько добрым людям…

Митрофан пошёл по деревенской улице. Он был без шапки, с приглаженными волосами, с расчёсанной на две стороны бородою, в длинной холщовой рубахе. Концы полотенца с вышитой занизью свисали до земли, как дьяконский орарь.

Парни и девки, стоявшие у раскрытых окон народного дома и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпивший парень в манишке и сползающих манжетах махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:

— Гони сюда закуску!

Старик остановился и степенно ответил:

— Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несу!

Митрофан дошёл до перекрёстка и остановился. Дороги были тихими, прогретыми майским солнцем. Весёлой побежкой гулял ветер, взмётывая золотистую пыль.

От запаха ли пыли, пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зелёной зыби раскинувшегося ржаного поля Митрофан стал думать о хлебе: «Даст ли Господь урожай?»

Вспомнились прежние градобития, неуёмные дожди, иссушающий зной, и во рту становилось горько, а хлеб на руках потяжелел. Солнце играло с ветром. Митрофан залюбовался их игрою и сразу же осветился.

— Ничего, — сказал нараспев, — Микола Угодник умолит, вызволит мужика из беды… Он, Микола-то, по межам ходит, хлеб родит, да и к тому же в Крещенье снег шёл хлопьями, а это всегда к урожаю…

На автомобиле проехали городские люди. С широким удивлением посмотрели на бородатого высохшего старика, стоявшего у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он поджидает с хлебом-солью среди пустых полей?

Мимо старика проехал велосипедист в кожаной куртке и таких же штанах. Он остановился и спросил:

— Ты, старина, зачем тут стоишь?

— Бедных зашельцев поджидаю…

— А это для чего?

— Хлебушком хочу с ними побрататься… Обычай такой у нас… старинный… штобы это Господь за нашу милость урожай хороший послал…

Велосипедист покачал головой.

Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не показывался. Это начинало тревожить Митрофана.

— Плохой знак… недобрый… Не посылает Господь ни одного доброго человека… Вот что значит одному-то выходить с хлебом!.. Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь-то и услышал бы…

От усталости Митрофан присел на придорожный камень и задумался. Думы были тяжёлые. Чтобы не так больно было от них, он старался дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторил:

— Своя земля и в горсти мила!

В думах своих не заметил, как мимо прошёл человек в рваной «чернизине» и босой. Митрофан прытко поднялся с камня и крикнул вслед:

— Эй! Поштенный! Остановись!

— Чево? — повернулся прохожий.

— Вы из нищих? — радостно спросил старик, приближаясь к нему с хлебом.

Прохожий плюнул и выругался.

Подойдя поближе, старик признал в нём скупого лавочника из Верхнего села.

Почти до вечера простоял Митрофан на перекрёстке и никого из нищей братии не дождался.

1938

Исповедь

— Ну, Господь тебя простит, сынок… Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитьё-то три целковых плочено, — напутствовала меня мать к исповеди.

— Деньги-то в носовой платок увяжи, — добавил отец, — свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в орла и решку и батюшке отвечай по совести!

— Ладно! — нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.

Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:

— Простите меня, Христа ради!

На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.

Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лёд, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.

— Куда это ты таким пижоном вырядился? — спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.

— Исповедаться! — важно ответил я.

— В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой-мучеником», — осклабился дворник.

На это я буркнул:

— Ладно!

Мои приятели — Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.

Урка недавно ударил мою сестрёнку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом, прохожу мимо.

— Ишь, Васька зафорсил-то! — насмешливо отзывается Котька. — В пальто новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая!

— А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! — сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остаётся в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:

— Сапожные шпильки!

Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник… Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьёт, не как-нибудь!

Гудят печальные великопостные колокола.

— Вот ужо… после исповеди, я Котьке покажу! — думаю я, подходя к церкви.

Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые берёзы. Длинная зелёная скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала Великого повечерия. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:

— Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!

Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.

— Одежду и сапоги измызгаешь, — вздыхаю я, — нехорошо, когда ты во всём новом!

— И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвизались три святолепных старца, — рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. — Молились, постились и трудились… да… трудились… А кругом одна пустыня…

Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.

— Васька! И ты исповедаться? — раздаётся сиплый голос Витьки.

На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загривку.

— Пойдем сыгранём в орла и решку, а? — упрашивает меня Витька, показывая пятак.

— С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!

— И вот пошли три старца в един град к мужу праведному, — продолжает дядя Осип.

Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»

Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в тёмных очках.

— Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? — ласково спрашивает меня.

Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:

— Не… у нас полка высокая!..

И когда спросил он меня: «Какие же у тебя грехи?» — я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нём бросило меня в жар и холод.

«Вот-вот, — встревожился я, — сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого Причастия…»

И чудится, кто-то тёмноризный шепчет мне на ухо: «Кайся!»

Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.

— Батюшка… — произношу сквозь всхлипы, — я… я… в Великом Посту… колбасу трескал! Меня Витька угостил… Я не хотел… но съел!..

Священник улыбнулся, осенил меня тёмной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнёс важные, светлые слова.

Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого- то, я подошел к нему вторично.

— Ты что?

— Батюшка! У меня ещё один грех. Забыл сказать его… Нашего дворника Давыда я называл «подметалой-мучеником»…

Когда и этот грех был прощён, я шёл по церкви, с сердцем ясным и легким, и чему-то улыбался.

Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному, напевает: «Волною морскою, скрывшаго древле». А за окном шумит радостный весенний дождь…

Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения.

— Ты прости меня, Вася, что я тебя «сапожными шпильками» обозвал!»

— И ты, Котя, прости меня. Я тебя «шкилетом» ругал! А кругом рай Господень и радость несказанная!

1935

Мати-пустыня

Голубым весенним днём, извилистой лесной тропой, под зелёной тенью берёз, тихим болезненным шагом шёл к себе на родину, в село Коростёлово, солдат красной армии Семён Завитухин, ржановолосый и низкорослый деревенский парень.

«Иду помирать на своей земле, — медленно и тяжело думал он. — Косточки сложить поближе к Волге, к родимой матушке, которую не видал лет восемь, к ржаным полям, к забытой могиле отцов, где так приголубно склоняются над ветхими крестами дуплистые деревья, а из окон кладбищенской церкви доносится кроткое примиряющее пение…»

— Не хочется помирать, но ничего не попишешь! — вслух произнёс горькие слова.

Крепко был болен Семён Завитухин.

Во время гражданской войны полежал как-то он на студёной осенней земле, схватил простуду, стал кашлять кровью и таять. Дали Завитухину вольную и отпустили на все четыре стороны.

Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берёз, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса.

— «Эка благодать-то какая!» — думал Завитухин, жадно вдыхая в себя сочный березовый дух.

Когда здоров был Семён, то не замечал в бешеной смене революционных дней всей красоты, щедро рассыпанной по весенней солнечной земле. Некогда было красноармейцу Завитухину думать о голубых небесах, берёзках да цветиках, когда люди говорят, что «белая гидра на носу и наёмники капитализма хотят погубить завоевания октябрьской революции».

При воспоминании о пройденных революционных годах, о душной гражданской войне, о расстрелах своих земляков, крепким надрывным словом выругался Завитухин и закашлялся от волнения удушливым кашлем с кровавыми выплевками.

Ложился на душистую тёплую землю, припадал к ней чахоточным лицом, рвал с берёзок пахучие клейкие листочки и, вдыхая в себя хмельные их запахи, с острой тоской укорял себя: «Счастья-то какого лишился ты, Сенька Завитухин — крестьянский сын! И на что променял?»

В душе поднималась колючая злоба, и, чтобы угасить её, он стал думать о родном селе Коростёлове на берегу Волги, о радостях забытого крестьянского труда, о солнечных восходах над росистыми полями, о родных яблонях, одетых в белый снежный цвет, о матери, о деревенских хороводах в дрожании прозрачных вечеров и о всём том, что составляло радость и смысл живущего и так безжалостно было сожжено огнём революции.

Семёну захотелось спеть старинную песню про зореньку, у которой много ясных звёзд, и про ноченьку тёмную, у которой звёздам счету нет, но закашлялся и погасил песню.

Чем ближе подходил Завитухин к Волге, чем ощутимее чувствовал вольное её дыхание, тем яснее и примирённее становилось у него на душе.

Была белизна и нежность, как когда-то в детские утренние годы, когда он в белой рубашке стоял в сельской церкви перед сияющей Христовой Чашей Причастия Святых Тайн.

Солнце село за далёкими лесами, и святая вечерняя тишина опустилась над зоревой Волгой и над соломенными крышами села Коростёлова, когда он, усталый, едва переводя дух от волнения, подошёл к своей старой избе с опрокинутым забором и яблонями в белом цвету.

Не смея сразу войти в избу, он сел на скамейку под яблонями и закашлялся. Скрипнула дверь избы, и на крыльце показалась маленькая старушка, вся в чёрном, как монашенка.

Чувство ли матери подсказало, что сидит на скамейке потерянный ею сын, жалость ли к этому усталому, кашляющему кровью человеку, сына ли напомнил он, но только она сошла с шатких ступенек крыльца, подошла к нему, села с ним рядом и без слов стала гладить бледные, костлявые руки незнакомого.

Завитухин вздрогнул, увидев родное лицо матери, опустился на землю, положил голову в её колени и заплакал:

— Маменька!..

Много хороших нежных слов было припасено матери в его сердце, но ничего, кроме слова «маменька», сказать не мог.

Мать тепло и крепко обвила его худую шею и радостно, тихо заплакала, и не могла найти слов, чтобы выразить свою нечаянную радость.

Семён прижимался к матери и слышал, как билось её сердце.

Он закашлялся. Из горла хлынула кровь. Она заливала подбородок и густыми, алыми змейками сползала по зелёной солдатской гимнастёрке.

Мать платком утирала подбородок сына и с бесконечной тревогой и нежностью спрашивала:

— Сеничка! Сыночек мой! Что с тобой, родименький мой?

— Вы не беспокойтесь, мамаша, — утешал её сын, стараясь улыбаться, — всё пройдет. Я поправлюсь. Помогать тебе буду… Забор вот поправить надо. Яблоньки подрезать… Ишь, они как одичали… Вы за меня, маменька, не тревожьтесь. Все пройдет. Кашель у меня меньше стал и облегчение некоторое обнаруживается.

Когда засыпал Завитухин в родной своей избе, то долго сквозь лёгкий сон слышал, как молилась мать перед старенькими образами и как дрожали за окном яблони в белом цвету.

Утром, с восходными зорями, Завитухин проснулся. Осторожно, чтобы не разбудить мать, он вышел из избы на крыльцо.

Утро — тёплое, розовое. Мягко кудрявились белые облачинки. На цветах яблонь роса. С голубой Волги веяло прохладой. В солнце и голубые ризы одевалась крестьянская земля.

В душе Семёна поднималось забытое крестьянское чувство.

Жадно захотелось работы. Родной, мужицкой работы, в которой целое поколение Завитухиных находило радость и оправдание жизни.

Захваченный жаждой работы, он не хотел больше думать о своей смертной болезни.

«Ничего, — утешал себя с улыбкой, — это пройдёт. Подышу деревенским воздухом, окрепну, и все будет в совокупности».

Семён обошёл двор, хозяйским глазом осмотрел одичавшие яблони, опрокинутый забор, шаткие гнилые ступени крыльца и деловито, по-хозяйски, слегка нараспев, произнёс:

— Работы-то много! Ишь, как всё покачнулось. Ну, да это мы, Бог даст, наладим…

В груди поднимался колючий клокот кашля, но Завитухин старался подавить его, чтобы этим заглушить мысль о болезни.

В сарае он нашёл топор, раздобыл гвоздей и взялся было починить опрокинутый забор, но не успел вбить и гвоздя, как почувствовал себя дурно, сел на землю и закашлялся долгим хрипящим кашлем.

Когда успокоился от кашля, подошёл к яблоне, обнял её шероховатый стан и заплакал.

Воротился в избу бледный, с дрожащими ногами и лёг на полати, с тоскою глядя, как золотые солнечные лучи проникали в избу и дрожали на стене тени от старых яблонь.

Как таяние вечерней зари, как догорание восковой свечи в одиноком храме, проходили на земле последние дни Семёна Завитухина. Наступила последняя предсмертная тягота. Не думалось больше о земле, о работе… Мысль тянулась больше к тому, что выше земли, выше солнца и звёзд, к невечернему миру, о котором так грустно пели когда-то под окнами странники-слепцы.

Часто звал к себе мать, гладил морщинистые её руки и всё просил рассказать ему что-нибудь про старину, когда леса были дремучее, нивы плодороднее, люди сильнее и всё было по-иному.

И мать, едва пересиливая рыдания, древними стихами рассказывала ему бывальщину.

Высокий и тонкий лад его дум так созвучно сливался с древними песенными словами матери, и была на душе особенная утешенность.

В один из золотых сентябрьских дней позвал он к себе мать и сказал ей:

— Маменька… голубушка… Отвези меня в Николину пустынь. Помолиться хочу перед смертью и обелить себя покаянием… Много греха у меня, маменька… Ой как много… Страшных грехов!

— Не тяжело ли тебе будет, Сеничка? Вёрст тридцать, поди, до Николиной пустыни, истомишься в дороге-то, сыночек!

— Не препятствуй мне, маменька. Пусть эта дорога подвигом моим будет, веригами моими. Отвези меня в пустынь… Пустынь… Пустыня, — бредово шептал Семён, — слово-то какое приятное… тихое, утешное слово… Помнишь, маменька, пела ты как-то о прекрасной мати-пустыни?

«Мати-пустыня, приюти сиротку»…

Чтобы не выдать сыну своей печали, уходила мать в сени и там плакала.

Одели Семёна в белую чистую рубаху, укутали в шубу, под руки повели к телеге, положили его на солому, и повезла мать сына холодноватым, золотым сентябрьским днём в Николину пустынь.

Лежал Семён вдоль телеги и большими, проясненными долгой болезнью глазами смотрел в глубокое синее небо, и уже не было желания быть на земле, а хотелось скорее слиться с этим небом и лечь бок о бок с прадедами, у края кладбищенской церкви, откуда будет доноситься кроткое примиряющее пение.

Ехали русскими просторными полями.

В пути, среди ветреного безлюдного поля, их застигла ночь. Холодно было. Пусто было. Мать склонялась над лицом больного сына, согревала его своим дыханием, поправляла изголовье и ноги его укутывала соломой. Чувствовала мать, что тяжело сыну, и сквозь слёзы утешала его рассказами про старину, про леса дремучие, где прятались раскольничьи скиты и жили прозорливые подвижники; про дедов крепких, как дубы, и весёлых, мудрых, как земля, ими возделанная. И даже стих пропела сыну про прекрасную мати-пустыню и про дубравы Господни, цветами райскими украшенные.

После причастия в Николиной пустыне умер бывший красноармеец Семён Завитухин. Тише падения золотого листа с дерева умер он, и даже мать не услышала последнего его вздоха.

При помощи монахов уложила мать сына своего на телегу и теми же печальными осенними полями, под те же ветровые песни, низко опустив голову, повезла его в Коростёлово. Так же в пути их застигла ночь, и много звёзд смотрело на них.

Холодно было. Пусто было. Кружился увядающий лист. Так же поправляла мать изголовье сына, укутывала ему ноги и согревала его дыханием, — словно холодно было ему в этой осенней мгле, и, как молитву, как причит, тихо пропела ему про прекрасную мати-пустыню и про дубравы Господни, цветами райскими украшенные.

1927

Молитва

Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится лишь на всю округу густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо сирень от всякого мора охраняет, — ну и приветили это древо у себя и дали развернуться ему от края до края.

В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле.

В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником», так как и умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.

— Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить может!

Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загораются!

Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону — видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.

…Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облёкся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчёсывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.

Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажёг огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампды.

Тёмный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи.

И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжёлого падения на колени отца Анатолия.

Он приник головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к Нерукотворному Спасу — большому чёрному образу посредине и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом всё громче и горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..

Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется… Только и бредит лугами зелёными, да как он грибы пойдёт собирать и как раков ловить… Утешь его, мальчонку- то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, - Господи!.. Один он у родителей-то… Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..

Господи! Как мне легко помыслить о Воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца!

Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:

— Помоги… исцели… Егорку-то!.. Младенца Георгия!..

Он протянул вперёд руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.

Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние…

Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился.

Несколько минут стоял молча, измождённый и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.

Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью:

— Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия… и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут… Скоро в кусочки они пойдут… Не допусти, Господи! Подкрепи его… Корнилия-то!

Прости такожде раба Твоего Павлушку… то есть Павла… Павла, Господи! Я всё это Тебе по-деревенски изъясняю… Огрубел язык мой… Так вот, этот Павлушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников пел… проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на неё… Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!

И ещё, Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова… Он ведь за свой счёт подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала… в заплатках вся… Благослови его, Милосердный… Он добрый!

О чём же ещё я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший… и чтобы это травы были… и всякая овощь, и плод… А Дарья-то Иванникова поправилась, Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!

Вот и всё пока… Да!., ещё вот, спаси и помилуй гостя моего, зде лежащего раба Твоего Василия… Ему тоже помоги… Он душою мается…

И еще спаси и сохрани… раба Твоего… как это его по имени-то?

Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.

— Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого… что у Святой горы проживает… и пчельник ещё у него… валенки мне подарил… Добрый он… Его все знают… Борода до пояса… у него… Ну, как же это его величают? На языке имя-то!..

Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:

— Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь… Прости меня, Милосердный, за беспокойство… Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных?

Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.

Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:

— Спит человек!.. А спать-то пошёл, видимо, не помолившись… Эх, молодость! Ну что тут поделаешь?.. Надо перекрестить его… Огради его, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста и спаси его от всякого зла…

Земля именинница

Берёзы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольёшься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трёх белоризных Ангелов шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:

— Завтра земля именинница!

— А почему именинница?

— А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдётся со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота — земля именинница: по всей Руси мужики не пашут!

— Земля именинница!

Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.

Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:

— Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).

Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гришка не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудрёную загадку.

Они думали-думали и наконец признались со вздохом:

— Не можем. Скажи.

Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил:

— Завтра земля именинница!

Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.

— А это верно, — сказал серьёзный Федька, — земля в Троицу завсегда нарядная и весёлая, как именинница!

Ехидный Гришка добавил:

— Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!

Я не выдержал его ехидства и заревел.

Из окна выглянул мой отец и крикнул:

— Чего ревёшь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за берёзками!

Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть моё сердце. Я перестал плакать. Примирённый схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за берёзками.

Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе:

Моя досада — не рассада:
Не рассадишь по грядам;
А моя кручина — не лучина:
Не сожжёшь по вечерам.

Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:

— Эй вы, банда! Потише!

В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами. Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них — борода, что у лесовика, — посмотрел на нас и сказал:

— Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава…

Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.

Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими берёзками, радость моя была затуманена.

Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку — сколько, мол, лет мы проживём.

Кукушка прокуковала Гришке восемьдесят лет, Федьке шестьдесят пять, а мне всего лишь два года.

От горькой обиды я упал на траву и заплакал:

— Не хочу помирать через два года!

Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врёт. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в её сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу:

— Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?

На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то сто двадцать лет…

Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную берёзовую листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала:

— Пресвятая Троица, спаси и сохрани…

Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи — утренники.

— Ты что в такую рань? — шепнула мать. — Спал бы ещё.

Я деловито спросил её:

— С чем пироги?

— С рисом.

— А ещё с чем?

— С брусничным вареньем.

— А ещё с чем?

— Ни с чем.

— Маловато, — нахмурился я, — а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня шесть пирогов и три каравая!

— За ним не гонись, сынок… Они богатые.

— Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!

— Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? — всплеснула мать руками. — Кто же из православных людей пироги ест до обедни?

— Петро Лександрыч, — ответил я, — он даже и в посту свинину лопает!

— Он, сынок, не православный, а фершал! — сказала мать про нашего соседа фельдшера Филиппова. — Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.

По земле имениннице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили — быть грозе!

Ждал я её с тревожной, но приятной настороженностью — первый весенний гром!

Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида — прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.

— На что тебе?

— Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший!

Сказала и зарозовилась пунцовой зорью.

Я посмотрел на неё, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем, с восхищением и радостной болью, воскликнул:

— У тебя лицо, как у Ангела-хранителя!

Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрывал лицо руками.

Именины земли Церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, — а пол был устлан цветами и свежей травой. Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зелёным лугом пройдуся, на синее небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся!»

После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона́ семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, «дабы украсить живоносный гроб Сына Своего Возлюбленного».

Около Евдокима стояли бабы и пригорюнившись слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить!»

Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского квасу, на копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки «пильсиннаго» мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.

Мать утешала меня и говорила:

— Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!

Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть.

На кладбище мать посыпала могилку зёрнами — птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь бесконечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в берёзках.

Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошёлся и пошёл гремучим «косохлёстом». От весёлого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором и густо пахло берёзами.

Я стоял на крыльце и пел во всё горло:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордань —
Богу молиться, Христу поклониться.

На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо своё первыми грозовыми дождинками.

Радостными до слёз глазами я смотрел на неё и с замиранием сердца думал:« Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь!»

И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождём и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.

1936

Вериги

Предгрозовой июньской ночью иеромонах Македоний обходил шестисотлетние стены Печёрского Успенского монастыря.

Вратарь отбивал в старинное било ночные часы. На дрожащие, суровые звуки била откликнулся колокол Печёрской звонницы, и за ним густо и важно пропели часы Свято-Никольской церкви.

Над золотыми куполами собора висели тучи с медными отсветами. По земле извивался сухой ветер, шумели старые монастырские дубы. Иеромонах Македоний дошёл до монастырских врат, где, по преданию, был обезглавлен Иваном Грозным преподобный игумен Корнилий. Македонию вспомнились слова из одной ветхой монашеской летописи: «По умерщвлении Корнилия преподобнаго, падоша Иване царь на хладныя мощи его, и зело плакася горько». Повторял эти слова и вздыхал.

Около врат стоял человек на коленях. Шаги монаха испугали его. Он встал с колен и хотел броситься бежать. Монах остановил его и успокоил.

— Вы издалёка? — спросил он.

Пристально вглядевшись в тихие, сострадательные глаза монаха, незнамый шёпотом ответил:

— Я тайком пришёл из России!..

— Горе, наверное, большое заставило вас прийти сюда?

— На душе у меня страшный несмываемый грех! — с отчаянием выкрикнул он, закрыв лицо руками. — Бог оставил меня! Перекрести меня! Страшно мне!

Иеромонах перекрестил его и усадил на камень, рядом с собою.

Пробили монастырские часы. Когда угас в воздухе их ночной перезвон, человек робко и растерянно, в бессвязных словах, рассказал страшную повесть о себе:

— Это было в 1918 году. Я служил в красной армии. Пьяными мы ворвались в этот монастырь.

Перед этим мы расстреляли у монастырских стен двух печёрских жителей. Со свистом, руганью и песнями мы взломали церковные двери и, в шапках, с папиросами в зубах, ворвались в храм искать сокровища. Что мы только в храме не делали, — подумать теперь страшно! Плевались, пели песни, хохотали. Я, как сейчас помню, всё хотел в уста Спасителя папироску вставить.

…Никаких сокровищ мы не нашли. Пошли в пещеры, где ваши иноки упокоеваются. Могильные плиты штыками да прикладами вскрывали, — всё думали, что монахи свои драгоценности в гробы попрятали! Много монашеских гробов раскрыли, осквернили и разрушили. Ничего не нашли.

Стоял в пещере, на месте первоначального алтаря подвижников, образ Богоматери… Мы этот Образ на пол опрокинули и сапогами, грязными солдатскими сапожищами… по этому Образу!..

Взяла меня злоба, что мы ничего здесь не нашли, и в злобе своей я штыком ударил в череп монаха, лежащего во гробе.

Стали мы выходить из пещер. Перед тем как выйти, я почему-то оглянулся назад и увидел, как над чьим-то гробом светилась синенькая лампадка… Своды, мрак, переходы и этот синий огонь над гробом!.. Взглянул я на эту лампадку и обуял меня такой страх, что я закричал и как безумный выбежал из пещеры. С этих пор, вот уже десять лет, я не нахожу успокоения. Каждую ночь вижу монаха с проколотым черепом и всюду, куда ни посмотрю, синие лампады перед глазами…

…Чтобы загладить окаянство моё, я стал изнурять своё тело. Вот, посмотрите…

Человек расстегнул рубашку и показал монаху железные вериги.

— Совесть погнала меня из России… сюда… монастырским стенам поклониться и попросить прощения у святых угодников. Услышит ли меня Бог? Простит ли меня, окаянного зверя?

Человек умолк и расплакался.

На прощанье он попросил перекрестить его. Иеромонах перекрестил, и рука его коснулась железных вериг.

Долго смотрел ему вслед и думал о таинственных жутких путях русской души, о величайших падениях её и величайших восстаниях, — России разбойной и России веригоносной.

Грозовые тучи прошли стороной. Далеко-далёко перекатывался гром, и в том направлении, где лежала Россия, вспыхивали молнии.

1929

Молнии слов светозарных

Любил дедушка Влас сребротканый лад церковнославянского языка. Как заговорит, бывало, о красотах его, то так и обдаст тебя монастырским ветром, так и осветит всего святым светом. Каждое слово его казалось то золотым, то голубым, то лазоревым и крепким, как таинственный адамантов камень. Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога, великого канона Андрея Критского, миней, триоди цветной и постной, октоиха, псалтыря и прочих богодухновенных песнопевцев.

Не раз говаривал он мягко гудящим своим голосом:

— В кладезе славянских речений — златые струи вод Господних. В нем и звезды, и лучи, и ангельские гласы, и камения многоцветные, и чистота, сне́га горного светлейшая!

Развернёт, бывало, дед одну из шуршистых страниц какой-нибудь древней церковной книги и зачнет читать с тихой обрадованной улыбкой. Помню, прочитал он слова: «Тя, златозарный мучеников цвет почитаю». Остановился и сказал в тихом вдумье:

— Вникни, чадо, красота-то какая! Что за слово-то чудесное: «златозарный». Светится это слово!

До слёз огорчало деда, когда церковники без великой строгости приступали к чтению, стараясь читать в нос, скороговоркой, без ударений, без душевной уветливости.

Редко кто понимал Власа. Отводил лишь душу со старым заштатным дьяконом Афанасием — большим знатоком славянского языка и жадно влюблённым в драгоценные его камни.

Соберутся, бывало, в повечерье за пузанком рябиновой (прозванной дедом «Златоструем»), и заструятся у них такие светлопевучие речи, что в сумеречном домике нашем воистину заревно становилось. Оба они с дьяконом невелички, сребровласые, румяные и сухенькие. Дедушка был в обхождении ровен, мягок, не торопыга, а дьякон — горячий, вздымистый и неуемный. Как сейчас помню одну из их вечерних бесед… Набегали сумерки. Дед ходил в валенках-домовиках по горенке и повторял вслух только что найденные в минеи слова: «Молниями проповедания просветил еси во тьме сидящия».

Дьякон прислушивался и старался не дышать. Выслушал, вник, опрокинул чарочку и движением руки попросил внимания.

Дед насторожился и перестал ходить. Полузакрыв глаза, с лёгким румянцем на щеках, дьякон начал читать чистым переливным голосом, мягко округляя каждое слово: «Великий еси Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих.

Твоею бо волею от небытия в бытие привел еси всячески: Твоею державою содержиши тварь и Твоим промыслом строиши мир…»

Дед загоревшимся взглядом следил за полётом высоких песенных слов, а дьякон продолжает ткать на синих сумерках серебряные звёзды слов: «Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе работают источницы, Ты простер еси небо яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты к дыханиям воздух излиял еси…»

Дьякон вскакивает с места, треплет себя за волосы и кричит на всю горницу:

— Это же ведь не слова, а молнии Господни!

Дед вторит ему с восхищением:

— Молниями истканные ризы Божии, — и в волнении ходит по горенке, заложив руки за монастырский поясок.

В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов, и любили, грешным делом, повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ.

Утешали себя блеском старинных кованых слов, так же как иные утешают себя песнями, плясами и музыкой.

— А это разве не дивно? — восклицает дьякон. — Слушай: «Таинство ужасное зрю: Бог бо иже горстию содержай всю тварь, объемлится плотию в яслех безсловесных, повиваяй мглою море».

— Не слова, а звёзды светосиянные, светильники светлейшие и прозарнейшие, — с дрожью в голосе отзывается дед, — светловещанная мудрость!

— А не возликуешь ли душою, раб Божий Власий, когда запоют над гробом твоим: «В путь узкий ходшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии… Приидите насладитеся их же уготовах вам почестей и венцов небесных»… «Сей бо отходит яко дым от земли, яко цвет отцвете, яко трава посечеся…»

— «Жизнь наша есть: цвет и дым, и роса утренняя воистину», — прибавляет Влас и обнимает дьякона.

— А какие слова-то, Господи, встречаются: «световидный», «светоблистанный», «светоносный», «светозарный», — говорит он сквозь слёзы. — «Душу мою озари сияньми невечерними»… «Цвете прекрасный», «шум громный», «зарею пресветлою озари концы вселенной», «жизнь нестареемая», «одеяйся светом яко ризою»… «Милосердия двери отверзи нам».

Всё светло. Всё от сердца, от чистоты, от святости, от улыбки Господней…

Подозвал, помню, меня дед к себе, погладил по голове и сказал: «Возлюби Божью красоту!»

До поздней ночи сквозь прозрачную дрёму слышишь то дьякона, то дедушку, пересыпающих жемчуг Божьих слов. И не хочется погружаться в сон: так бы и колебался на зыбких певучих струнах богодухновенных речений.

Сумерки

Григорий Семёнович, шурша валенками, ходил из угла в угол, сморкался в красный клетчатый платок, останавливался перед дочерью, пудрившей лицо, и говорил ей тяжёлым голосом:

— Лампадку ты не затеплила. Обедню проспала… Посты не соблюдаешь… Спать ложишься, Богу не молишься… Рази ты не восчувствуешь, Леночка, что это грех неотмолимый?

— Надоели вы, папенька, хуже горькой редьки, — вспылила дочь и ушла из дома, крепко хлопнув дверью.

Григорий Семёнович молча потоптался на месте, покачал головой и кряхтя сел в старое кресло, стоявшее под иконами. В этом кресле тридцать лет тому назад изволил сидеть епископ Никандр и кушать чай. В те времена Григорий Семёнович был купцом первой гильдии и церковным старостой.

Обмахнув платком лицо и заложив за ухо спутанную прядь волос, он тоскливо произнёс:

— Леночка! Леночка!

На душе тревожно.

— Без Бога хочет обойтись, глупая… — шептал испуганным шёпотом. — Да рази это мыслимо?

В окна старого купеческого дома видна была удаляющаяся Леночка, в дымно-сиреневых сумерках уходящего июльского дня. Светлый костюм, красная шапочка, прядка волос, позолоченная закатом…

Она шла быстро, какой-то вихлястой походкой, и отцу это не нравилось.

Жизнь Григория Семёновича не радовала. Всё изменилось к худшему. Даже в церкви — тысячелетнем доме Господнем, где всё должно быть незыблемо и крепко, он находил большие перемены. Священники служили не по уставу, певчие забыли старинное пение, звонари не - умеют трезвонить, как в старое время, православные проходят мимо церкви и не осеняют себя крестным знамением. Молодежь тоже пошла не та: шумная, говорливая и мелководная. Не стало девушек с опущенными ресницами, длинными косами, тихими светлыми взорами. Язык людей раздражал Григория Семёновича. Не стало хороших русских слов, круглых и румяных, как яблоки. С руганью отплевывался он от всяких там «мерси», «извиняюсь», «абсолютно», «пардон», «мадам».

Все употреблявшие эти слова для него были еретиками, безбожниками и свистоплясами.

По каким-то признакам он даже определил, что и земля стала пахнуть не так, как прежде.

В горнице, заставленной тяжёлой и пыльной мебелью, ему показалось душно. Он вышел на улицу. Был тёплый, певучий вечер. Над вершинами лип кружились звонцы.

В окнах форштадтских домиков мерцали блики румяных зорь.

За рекой играли на гармошке, и в лихих ладах ее слышались отзвуки затуманенной старины.

Григорий Семёнович сел на скамейку около дома с высоким узорным крыльцом и стал - смотреть, как из соседнего трактира два человека вышибали форштадтского пьяницу Афоньку.

По улице бежала золотистая пыль. У общественного крана откачивали пьяного. По дороге шла монашка-сборщица. На крыльце соседнего дома сидела старуха и бросала голубям хлебные крошки.

— Рррасшибу, — кричал Афонька зыбким от пропоя голосом, — у меня сибирская кровь!.. Ррраз…

Послышался звон разбитого стекла и вслед за ним свисток полицейского.

По домам обносили чудотворную икону, прибывшую из соседнего женского монастыря. На зелёной улице с низкими сонными домиками и одичалыми садами раздавалось грустное монашеское пение. За осиянной от золота иконой шли четыре женщины в платках. Впереди нахмуренный монах в пыльной ризе и монашка с фонарём.

В этом бедном шествии не было прежнего величия и редко кто снимал шапку перед монастырской святыней.

Все это было своё, близкое до слёз, пахнувшее прошлым, но беднее красками, без улыбки и без румянца.

Мимо Григория Семёновича проходили соседи по форштадту, но почтительно кланялись ему

лишь старики, помнившие его богатым, тороватым купцом, и что у него когда-то преосвященный владыка изволил кушать чай. По-прежнему, как и встарь, он сурово кивал им головой, выпятив нижнюю губу для солидности.

Сегодня почему-то особенно хотелось с кем-нибудь поговорить, посетовать на жизнь и вспомнить давно прошедшее время с горластыми протодьяконами, многолюдными крестными ходами, лихой купеческой гульбой, строгими великими постами, большими русскими дорогами и вихреподобными тройками.

«Ну, к кому пойти, — раздумывал он, наморщив высокий тяжёлый лоб и разглаживая седую купеческую бороду, — все приятели мои давно упокоились. Ежели есть какие-либо старики на форштадте, так они звания слишком низкого, и ему, бывшему купцу первой гильдии и церковному старосте, зазорно ходить первому…

С реки подуло стальной свежестью. Григорий Семёнович перекрестился на купол монастырского подворья и вернулся домой, к своему креслу и своим нахмуренным думам…

Сидя в темноте, озарённый алыми лампадами, он подумал, как хорошо бы иметь сейчас понятливого, слушающего человека.

Григорий Семёнович по-детски всхлипнул:

— Нет ни одного человека… Даже Леночка… Плоть от плоти моей и кровь от крови моей не может понять меня.

Заплаканными глазами он стал смотреть на портрет покойной жены, вспоминая прожитую с ней жизнь, на литографию Александра Третьего в царской короне и на увеличенную фотографию епископа Никандра в клобуке и при орденах.

Неожиданно для самого себя он заговорил с ними вслух:

— Вот видите, дорогая супружница моя, Настасья Даниловна, Ваше Императорское Величество и Ваше Преосвященство, какая теперь жизнь наступила постылая… Мир гибнет, владыка святый!

От мёртвых, суровых ликов царя и епископа он перевел глаза на портрет жены и тихо, с тёплой скорбью, от которой было ласково, сказал взволнованным голосом:

— Голубка моя… Пойми ты меня… Трудно мне стало по земле ходить… Поклонись, матушка, Царю Небесному в ноженьки, чтобы взял Он меня на Свои рученьки и к прадедам и дедам причтил бы… А Леночка-то наша, девонька-берёзынька, от рук отбилась и от Бога отрекается!..

За окнами плыл звенящий, июльский вечер. Григорий Семёнович прислушался к нему и подумал: такой же синий вечер был в его детстве, когда он босоногим мальчуганом Гришуткой торговал вразнос яблоками, и в его юности, когда он признался в любви Настеньке, и теперь в его снежной старости таким же он будет до последнего дыхания земли…

Вечер остался неизменным, как и прежде, и радовало это Григория Семёновича горькой радостью.

1935

Архиерей

Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор. Опускаются летние, задумно-тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе.

Святые врата ограды распахнуты настежь… Вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братия. Кто в мир, а кто и мученическую смерть приял…

Под окнами келий, вместо цветов, дикий бурьян да репейник.

Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима: «Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник; все врата его опустели; священники его вздыхают…»

Под синим осенением лип, по затравевшей тропинке бредёт старый келейник Илларий. Тяжело шуршит истоптанными сапогами. Тихие, неслышные глаза опущены долу. Ветер дышит на его седую бороду.

За Илларием входит в монастырь мирская молодёжь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни, на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистыя Богоматери. Гармонь принесли с собой. Хриплые лады её колыхнули монастырскую тишину. В открытое окно донеслись слова частушки:

Коротким росчерком пера
Приказ мы учредили
И чудотворцев со двора
Убраться попросили…

Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов Его; и в доме Господнем они шумели…»

С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Илларий, семидесятилетний келейник, остался.

Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят — потрапезуют. Утром и вечером в домовой церкви служили. Илларий кадило раздувал и на клиросе пел древним печалующимся напевом. Сквозь стрельчатые окна церкви плыли солнечные прибои, и великолепной казалась в их пёстрой игре поношенная риза епископа.

Перед сном топили печь. Садились около огня и тихо, по-стариковски, разговаривали.

— Ну что, Илларий, как живут в миру- то? — спросил сегодня владыка.

— Мятётся мир, владыко святый… Волнуется море житейское, воздвизаемое зря.

Нашему брату помирать теперь впору. Седни зашёл я к обедне к Глебу, а отец-то Никодим, гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал, касаемо живой церкви. Народ стоит, а без разумения: что ещё за живая церковь? Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала: «Упокой меня, Господи, возьми от жизни и к обителям Твоим святым причти мя…»

— А был когда-то отец Никодим совсем другим, — раздумчиво шепчет Палладий, — в царские дни, бывало, у него в окнах световые вензеля царственных особ. Всё, Илларий, меняется, проходит, одна земля стоит вовеки…

— А помните, владыка, протодьякона Иорданова?

— Помню, Илларий, как не помнить. Такой мощной октавы и в Москве не было!

— Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поёт!

Илларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил:

— Про отца Григория Никольского ничего не слышали?

— Так неужели, Илларий, и он переменился? А какая светозарная душа была у него!

— Отец Григорий мученическую смерть приял… Пришли к нему во время Литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем…»

Палладий перекрестился и заплакал.

Дозвенели в печке угольки. Тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна.

— Обезумел, владыка, мир! — колыхнулся в темноте шёпот Иллария. — Парни-то в святую часовню за нуждой ходят. Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только… А недавно молодёжь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты, и в каком-то клубе икона Божией Матери превращена в шахматную доску!..

По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творения Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип…

В один из вечеров, во время чая, у подъезда кто-то позвонил.

Илларий вздрогнул и заметался:

— Звонят, владыка… Не смерть ли за нами?

— Пуганый ты старичок, Илларий. Поди и открой!

В покои вошёл высокий, упитанный человек, коротко остриженный, в мешковато сидящем смокинге.

Палладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички… Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность Престолу и Церкви.

— Чем могу служить? — спросил его епископ.

— Я к вам по важному делу, владыка… Церковь мою постигло некое попущение! На днях, волею законных властей, у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды

нашей многострадальной родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют…

— Гуляют, говорите? — с горькой улыбкой спросил владыка. — Что же дальше, отец Павел?

— А дальше, владыка, вот что: сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришёл к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви. Вы, властию вам данной, можете и без них обойтись!

— Каким это образом? Я часто служу Литургию.

— Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели и необходимо считаться с временем!

— Я вас не понимаю, отец Павел! Что вы этим хотите сказать?

— Слушайте. Вы епископ? Да. Обладаете благодатью Святого Духа? Обладаете. Так что же вам стоит сей стакан превратить в Чашу Господню, а сие блюдечко в дискос? Очень просто! А главное, этой перемены никто у вас не увидит. А у меня, владыка, народ… со стаканом-то мне выходить на амвон зело непристойно!

Палладий нервно сжал пальцами панагию.

— Шутник вы, отец Павел! Раньше, помнится, таким не были!

— Нисколько не шучу. В древности, владыка, сосуды не токмо стеклянные, а даже деревянные были, да зато попы были золотые… А теперь сосуды-то золотые, а…

Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его:

— Дать священные сосуды вам, пренебрегающему апостольскими и каноническими правилами, я не могу! Вы недостойны быть совершителем Святых Христовых Тайн!

Скорбященский долго говорил в прихожей о старомодности епископа. Келейник беззвучно смотрел в окно на тусклый купол монастырского собора.

Медленно, как ледяной «шорох» перед застыванием реки, шло время.

После визита отца Павла Скорбященского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир…

Чтобы утолить своё беспокойство, он заставлял Иллария подолгу читать ему псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка и как жизнь с её огорчениями облекалась в голубые небесные ризы.

Каждый день Илларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей…

Епископ молча слушал его и всё время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к тёмному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю, и всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы.

В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы

посмотреть, как живёт его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей.

На рассвете епископ Палладий с келейником Илларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, тёплую шапку с наушниками и валенки.

Ехали сугробными голубыми полями. Свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звёздная россыпь снежинок, белые берёзы у края дороги и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожую на румяное бодрое яблоко.

В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твёрдую дорогу.

Приехали в село Отрадово. Над церковными дверьми висела вывеска: «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол…

С настоятелем прихода отцом Андреем отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом и все навзрыд плакали…

В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах, и почти все стояли на снегу, на коленях и громко выкрикивали слова молитв:

— Господи, спаси! Господи, помилуй!

Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов.

Пронёсся испуганный шёпот:

— Расстреливают…

В соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив.

По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкою за плечами.

Владыка остановил лошадь и подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским.

— Откуда и куда, батюшка? — спросил Палладий, благословляя отца Василия.

— Скитаюсь, владыка. Из села Орехова меня выгнали. Церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом попутчиком да с алтарём Его за спиной…

— Как так с алтарем?

— В котомке у меня антиминс, Чаша деревянная, епитрахиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать Святые Христовы Тайны.

Владыка не мог сдержать слёз, слушая священника-странника… Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его…

Много тяжёлых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам. Много слёз, горя

и ужасов впитала душа его… И замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась бы в раздумье над огоньками свечей в тёмных амбарах и сараях, превращённых в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу, на коленях, и в особенности на том священнике с алтарём за плечами, шагавшем по крестьянским дорогам… с деревянной Чашей Христовой…

После поездки по приходам владыка простудился и слёг в постель. Был сильный жар. Владыка бредил. Илларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у тёмных икон.

С каждым днём владыке становилось всё хуже и хуже.

Однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его.

— Вот бы, Илларий, — говорил он через силу, — обойти бы всю землю русскую в убогом наряде странника, с посохом в руке и сказать всем чающим Христова утешения одно заветное слово… Жжет оно меня, а сказать не могу…

Тихий монастырёк в берёзовом лесу… Слышишь, Илларий, монашеское пение? Это берёзы поют… Иорданов, ты опять выпивший? Что? Не можешь? Больше, говоришь, велелепности, когда выпьешь? Ах, неуспокоенный ты человек!.. А парни-то в часовню за нуждою ходят… Ты, говорит, стакан в Чашу Господню преврати… А берёзы-то поют и зовут… зовут… Вот бы рясу чёрную… Простую… посох… Алтарь за плечи… И пойти, пойти по утренней росе… По лесной дороге… Умыться родниковой водой, цветы послушать и опять пойти… подвиг восприять! А по дороге идёт отец Василий с деревянной Чашей, и вокруг него ночь и падает снег… а он идёт… идёт…

Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутрене в заречной церкви и над снежной землёй, в голубом морозном дыме поднималось солнце.

1925

Тайнодействие

Впервые услышанное слово «проскомидия» почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова: «молния», «всполох», «зорники» и услышанное от матери волжское определение зарниц — «хлебозар».

Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье, в запахе лип, проникавшем в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.

Перед совершением её священник с дьяконом долго молились перед затворёнными Святыми вратами, целовали иконы Спасителя и Божьей Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте, что ли, считающему у выручки медную монету, или Божьей хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудрёными церковными словами:

— Всему миру кланяются! Ибо сказано в чине священныя и Божественныя литургии: «Хотяй священник божественное совершити тайнодействие, должен есть примирен быти со всеми».

Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого невиданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шёлковую одежду — подризник и произнёс звучащие тихим серебром слова: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою».

Облачённый в стихарь дьякон, видя мое напряжённое внимание, шёпотом стал пояснять мне:

— Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.

Священник взял епитрахиль и, назнаменав его крестным осенением, сказал: «Благословен Бог, изливай благодать Свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежди Его».

— Епитрахиль — знак священства и помазания Божия…

Облекая руки парчовыми нарукавницами, священник произнёс: «Руци Твои сотвористе мя и создасте мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим» — и при опоясании парчовым широким поясом: «Благословен Бог, препоясуй мя силою и положи непорочен путь мой… на высоких поставляяй мя».

— Пояс — знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, — прогудел мне дьякон.

Священник облачился в самую главную ризу — фелонь, произнеся литые, как бы вспыхивающие слова: «Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются…»

Облачившись в полное облачение, он подошёл к глиняному умывальнику и вымыл руки: «Умыю в неповинных руце моя и обыду жертвенник Твой, Господи… возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея…»

На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем Чаша, дискос, звездица, лежало пять больших служебных просфор, серебряное копьецо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от чаши излучалось острое сияние.

Проскомидия была выткана драгоценными словами: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя… Дивны высоты морския, дивен в высоких Господь… Святися и прославися пречистое и великолепное имя Твое…»

Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное Свое царство.

Много произносилось имён, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдце — дискос. Тайна литургии до сего времени была закрыта Царскими вратами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в Тело Христово и вина в истинную Кровь Христову, когда на клиросе пели «Тебе поем, Тебе благословим», а священник с душевным волнением произносил: «И сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, аминь, аминь, аминь…»

В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щёки мои горели, временами била лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лёг в постель. Мать заволновалась:

— Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щёки как жар горят!

Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и, рассказывая, чувствовал, как по лицу моему струилось что- то похожее на искры.

— Великое и непостижимое это дело — совершение Тайн Христовых, — говорила мать, сидя на краю моей постели, — в это время даже Ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия!

Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной.

— Да, живём мы пока под ризою Божьей, Тайн Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны… Уйдут они в пещеры, в леса тёмные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: «Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут… И наступит тогда конец свету!»

— А когда это будет?

— В ладони Божьей эти сроки, а когда разогнётся ладонь — об этом не ведают даже Ангелы. У староверов на Волге поверье ходит, что Второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деды наши сурово к этому Дню приуготовлялись.

— Как же?

— Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаём и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны, — словно к смертному часу готовимся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и в трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал жёлтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб егоже обрящет бдящим…» Дед твой часто говаривал: «Мы-то, старики, ещё поживём в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведётся жить!»

Странники

За лесом вспыхивали молнии.

Предгрозовая тьма скрыла солнце, и тяжело побежала по знойной земле. Низко опускались тучи, бросая дымные тени на полевые просторы. Шла гроза. Пылила большая дорога. От ветра сгибались вётлы.

Шли по дороге, опираясь на берёзовые батожки, слепой дед и поводырь-отрок. У обоих за плечами латаные пестрядинные сумы. На ногах лапти-шептуны. На груди у деда медный осьмиконечный крест.

Дед устал. Дышит через силу. Слезятся от пыли белые незрячие глаза. Гроза всё ближе да ближе, а скрыться негде… Поле, небо да вётлы придорожные. Поводырь лениво ведёт деда за руку, с испугом смотрит в тёмно-багряное небо и помыкает деда.

— Скорее, дедушка! До грозы надоть добраться до часовеньки Разстани!

— Рад бы скорее, внучек, да не идут мои ноженьки. Устал я. Грудь болит. Нет дыхания мне. К земле тянет. Не смертушка ли мне, странному, бездорожному?

— С устатку это, дедушка! Скоро дойдём…

— Веди, веди, коли скоро… Микола-угодник! Путников покровитель, возьми тяжесть мою странническую!

На большую дорогу, в мягкую горячую пыль падает тяжёлый дождь.

Странники перешли ручеёк по хлипкому деревянному мостику, обогнули зелёный взлобок и дошли до часовни. Стоит она у большой дороги. Ветхая, шаткая, солнцем обожжённая. Дверь её на одной петле держится. Главка с крестом набок склонилась. Оконце заколочено сизой от древности доской.

— Часовенка-то совсем рухает, дедушка!

— Устарела, приютная… Не будет скоро келейки для странников… — лепечет дед и бесслёзно плачет.

— Пойдём, дедушка, в часовенку. Ишь, гроза-то какая всполошная!

Дед не трогается с места. Опирается руками на батог, качает головой и всхлипно говорит:

— Когда я махоньким был, внучек, я с бабкой часто ходил к этой часовенке. Образ тут Спаса, чудотворный, и мы светá́ми его наряжали. Родник был здесь целебный, бойкий такой и звонкий… Вода студёная-студёная и чистая, как слеза. Между каменьями иконка вделана, и рядом берестяной ковшичек… Дубы здесь росли. Большие. Вековые. Ляжешь под их храмину, а они шумят, шумят и укачивают тебя — как в зыбке!..

Голос деда дрожит и колышется. На лысую голову падают дождевые капли и струятся крупными слезами по жёлтому и морщинистому лицу его.

— Да… были вековые дубы, а теперь их нет… дубов-то. Родника целебного нет. Скоро и часовенки, Боговой келии, не будет.

Он ощупью подходит к часовенке, и дрожащими руками касается чёрных её стен, и приникает к ним заплаканным лицом.

Упал дождь, и зелёная земля густо зазвучала кустарниками, вётлами и травами. Синие молнии перекрестили небо. Тяжёлой падающей медью загрохотал гром.

Дед и поводырь схоронились в тёмной часовне, пахнущей засохшими цветами, кипарисом и пылью. Сели на полу у киота Спаса. Прижались друг к другу.

— Боязно, дедушка! Ишь, как молонья освечает!..

— Не бойся, дитятко, здесь Богова тишина. Спас благоуветливый нас голубит. Тише, внучек, тише. Господь на землю гневается. Свят, свят, святый Боже… Озари стадо Твоё зарёю благодати Твоего заступления, жизни сподоби немерцающей. Лицо земли осияй светом невечерним…

— Молчи, деда, страшно мне!

— Не бойся, здесь Богова тишина…

Дед молчит, гладит рукой голову внука и к чему-то прислушивается, затаив дыхание.

— Ась?

— Тише, дедушка! Никто тебя не кличет!

— Как будто бы кто кликнул меня?.. Так явственно кликнули: «Са-а-вва-тий!..»

Дед осеняет себя частыми крестами, нагибается к испуганному внуку и шепчет:

— Это смерть меня кличет… Пожил я, и хватит. Тебе, ясному, вольготней будет… Не пужайся… Груско мне на земле… Дубов старых нет, родника нет, рухает часовенка, нас, старых, — не слушают. Неприютно мне на земле! Надо на покой… к своим… Не плачь, дитятко, не плачь, бесприютный, терпеливый мой… Чу! — насторожился дед, — опять кликнули… Явственно. Зовут!

— Полежи, дедушка. Вот так… Весь ты как в огне горишь… Не хрипи так, боязно мне!

Дед прилёг к иконе и забредил:

— Идёшь, стара… Иди, иди. Истосковался я по тебе. Солнышко! Птички — зорюнки поют! А рожь-то какая высокая… чижёлая… и светочки синенькие-синенькие… Дубы зашумели. Вода, родниковая, целебная, по камушкам побежала… А часовенка-то новенькая, и сблёскивает риза Спасова…

Он приподнялся, обвёл глазами тёмные запаутиненные углы часовни и закричал:

— Господи! Прозрел я!

Внук в испуге отпрянул от него, встал к стене и забился в припадочном рыдании.

Дед прилёг к иконе. Голова его свесилась набок.

— Чу! Песня! Старая-старая, дедами напетая… — тихо зашевелились слова. Помолчал, и опять тревожный горячий бред:

— Внучек! Позови стариков! Куда это они бегут и не оглядываются? А… это они от грозы бегут… Будет гроза большая-пребольшая!.. Скорее бегите! Господи! Что это на земле Твоей деется? Ты взгляни только, — келейку Твою рубят! Покарай кощунников, покарай!.. Гляди, милосердие Твое из часовни выносят!.. Не замайте! Задержите!..

Крикнул дед в последний раз, бережно одёрнул на себе одежду, вытянулся с сухим костяным треском и смолк.

Поводырь спрятался за тёмный киот и боялся взглянуть на мёртвого деда. Стоял он с зажмуренными глазами и вздрагивал.

Вспыхивали молнии и гремел гром, сотрясая испуганную придорожную часовню.

1924

Икона

Всё было седое: колокольня, иконы, ризы и батюшка с дьяконом. Недавно стал седеть и псаломщик. Церковь стояла на окраине большого портового города. Из-за густых деревьев, осенивших церковный двор, города не слышно было и не видно. На дворе росла густая некошеная трава, — здесь она казалась тише и святее, чем в городских садах. Церковь и тихие служители её обладали даром вносить в жизнь загородного прихода душевное упокоение и неизъяснимый уют. Про настоятеля церкви отца Захария — высокого и светлоликого — говорили, что он святой жизни человек и молитва его доходна до Бога. Дьякон Иероним — коренастый, пышноволосый, окающий по-новгородски — тайную милостыню творил. Псаломщик Влас Никанорович — худощавый, с бакенбардами и усами, как у Александра Второго, — любил выпить, но никто не осуждал его за слабость, так как был душевным человеком и хорошо читал шестопсалмие. Все они были вдовыми. Жили тихо — как трава растёт. Газет не читали и к мирской жизни не прислушивались. Были простыми, созерцательными и по-святому восторженными.

Так бы и прожили они в спокойных своих горенках, если бы не одно прискорбное обстоятельство, от которого батюшка с дьяконом ушли в молчание, а псаломщик запил «мёртвую».

Дело было так. Говорит как-то отец Захарий дьякону:

— Отче Иерониме! Ты ничего не знаешь?

— В чём дело, отец протоиерей?

— Ожидает нас небывалое в жизни прихода нашего пресветлое торжество!

— Архиерейская служба?

— Не то, дьякон. Грядущее торжество сие — иного чина. Через месяц старосте нашему Павлу Ефремычу исполняется десятилетие служения его приходу!

Дьякон вытаращил глаза и неизвестно отчего перекрестился.

— Ска-а-жите на милость, — прогудел он, — выражаясь гражданским штилем, юбилей, значит? Выходит, по правилу, ознаменовать надо сие событие!

— Истина во устех твоих, отче дьяконе! Обязательно ознаменовать! Но как?

— Просить владыку-митрополита представить Павла Ефремыча к ордену, — предложил дьякон, — молебен отслужить, слово сказать приличествующее сему случаю, большую проскомидную просфору преподнести и многолетие закатить по-малинински!

— Верно слово твоё, но не маловато ли это? Всё же десятилетие! Надо бы ещё такое, отчего на всю жизнь взыграла бы душа Павла Ефремыча!

— Ну, а что же ещё?

— Знаешь, отче дьяконе? — просиял батюшка от какой-то мысли, — поднесём ему икону святого и всехвального апостола Павла. Дар этот будет душевный и на всю жизнь памятный. Орден-то он спрячет и забудет, а икона-то висеть будет на почётном месте… Лампадка перед ней… Взглянет Павел Ефремыч на Божий огонёк и скажет: «Ай да молодцы причт и прихожане

Покровской церкви! Ишь, каким благим даром ублажили меня, грешного!» Нет лучше иконы, дьякон!

На этом и порешили.

На другой день, с утра пораньше, пошли они по приходу с подписным листом: «Пожертвуйте, православные, от щедрот своих на поднесение иконы старосте нашему».

Несказанно были удивлены они, когда в первом же антикварном магазине нашли икону апостола Павла, письма тонкого и величавого. Как живой стоял перед ними исповедник Христов, окаймлённый резным ореховым киотом, — работы тоже тонкой и вдохновенной.

Выходя из магазина, дьякон восхищался:

— Вот это дар, всем дарам будет дар!

Псаломщик, увидев икону, всплеснул руками и замер.

— Воистину Сам Господь водил рукою иконописца! — сказал он.

Наступил день чествования старосты. После многолетия, волнуясь и запинаясь, обратился батюшка к старосте с приветственным словом.

Зарумянившись от смущений и тайной гордости (вот-де какой дивный дар), поднесли старосте икону. Тот небрежно принял и сразу же передал её церковному сторожу: «Отнеси ко мне на квартиру!»

Вечером дьякон и псаломщик пили чай у отца Захария.

— Ну, слава Тебе, Господи, — говорил батюшка, попивая чай с блюдечка, — торжество у нас было незабываемое!

— А вы обратили внимание, отец протоиерей, — спросил дьякон, — как тронут был Павел Ефремыч? Он до того переконфузился, что даже икону не поцеловал и прихожан не поблагодарил… Вот как мы его проняли!

— Хороший дар сделали, Божеский! — кивал головой псаломщик. — Редчайшее художественное творение!

Во время чаепития пришёл к батюшке посланец от Павла Ефремыча, с большим пакетом в руках.

— Не подарок ли нам в благодарность? — шепнул дьякон псаломщику.

Посланец подал батюшке письмо.

Батюшка улыбнулся.

— Наверное, благодарственное? — сказал он. — Ах, бесстыдник Павел Ефремыч! Ну, к чему это? Разве важно сие?

Отец Захарий пробежал глазами письмо и смутился. Лицо его стало красным и потным.

— Братия моя! — прошептал он. — Что же это такое? Послушайте, о чём пишет-то Павел

Ефремыч!

«Премного благодарен за Ваш душевный дар, который есть икона. Но ввиду того, что в квартире нашей модный стиль, который прозывается модерн, красного дерева, мы, по размышлению с супругой моей, не можем эту икону повесить в комнатах, так как означенная икона к мебели не подходит. Ибо она, мебель, красного дерева, а киот иконы ореховый, а поэтому жертвую пожертвованную Вами икону в храм на предмет возжжения перед нею неугасимой лампады за моё и супруги моей здравие».

Старый причтовый дом загрустил. Понял отец Захарий, что жизнь стала не та и люди не те, и всё, что было хорошего в прошлом, не имеет цены в настоящем. Все чаще и чаще стал задумываться отец Захарий. Раньше, бывало, улыбался, а теперь нет. Вечерним часом сядут с дьяконом на ступеньку крыльца и оба о чём-то думают. Покачает головой отец Захарий и скажет:

— Да… да… стиль модерн… Вот оно дело-то какое… Модерн!..

Яблоки

Дни лета наливались как яблоки. К Преображению Господню они были созревшими и как бы закруглёнными. От земли и солнца шёл прохладный яблочный дух. В канун Преображения отец принёс большой мешок яблок… Чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отборных малиновых боровинок положили под иконы на белый плат, — завтра понесём их святить в церковь. По деревенской заповеди грех есть яблоки до освящения.

— Вся земля стоит на благословении Господнем, — объясняла мать, — в Вербную Субботу Милосердный Спас благословляет вербу, на Троицу — берёзку, на Илью Пророка — рожь, на Преображение — яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мёд и всякий другой дар Божий… Грех срывать плод до времени! Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росою, землёю и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к весёлым яблочным рядам. Большие возы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осенецветные, багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зелёные, с красными опоясками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зёрнышки просвечивают), большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рождественскую ёлку вешают, — лежали они горками в сене, на рогожах, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.

Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, приценяться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Всё смешило — и бойкий чернобородый зубоскал-мужик в розовой рубахе, стоящий на возу, как Пугачев на Лобном месте, и надсадно выкрикивающий: «А вот я-я-бло-чки красавчики»; загаристая девка с большим кошелем через плечо, давшая наотмашь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу. Особенно смешил круглощёкий восьмилетний пузан, одной рукою показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца почём, — а другой рукой залезающий под солому. Когда

карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: «Дороговато!» На воришку весело посматривал городовой и грозил полицейским пальцем: «Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый». Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: «С наступающим праздником!» Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной коробовкою». Сделав губы бантиком она ответила: «До священья не вкушаю».

Под телегами спали разиня рот деревенские ребята — с тятьками и мамками, они всю ночь сопровождали яблочные возы в город. Я встретил Урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему:

— Разве можно есть неосвящённое? Грех ведь!

Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьёзный ихний раввин:

— У нас свой закон!

В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько мер собрали, сколько пообтряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли барыша и что-де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени и теперича, мол, зима не страшит, всего вволю, а поэтому можно ещё сороковочку выпить!

Чтобы угодить мужикам, половой завёл органчик, но ему сказали:

— Поштенный! Нельзя ли повременить? Успенский пост ещё не прошедши!

А кругом чайной дробный полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина — предосенница, жаркое, но всё же замирающее солнце, — оно тоже созрело как яблоко и скоро уляжется на покой до новой весны и нового созрева, — и это полнозубое, весёлое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам!

— Ах, какое хорошее слово «яблоки»! Лучше этого слова не сыщешь по всей поднебесной!

* * *

Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели яблоками и мёдом пахнущий Преображенский тропарь:

Преобразился еси на горе, Христе Боже,
Показавый ученикомТвоим Славу Твою, якоже можаху;
Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный,
Молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Вечером, после ужина, меня заставили читать Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по складам:

«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».

Ночь была душной, с далёкими всполохами, с августовской, тихо шумящей тьмою.

От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготнее, но

мать строго мне внушила:

— Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти брат, преддверие к Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу…

При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.

Утром встали спозарань. На дворе желтела заря — ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающийся день всё шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходье, так редко мною виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой Заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием Великого Государя, виденного мною на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причёсанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на горе Христе Боже».

— Преображение… Преображение… — повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему Дню.

С белым узелком яблок пошли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, заняли места в доме Божьем: и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед Богом, — вошедшие в силу, напитавшиеся росою, землёю и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святою водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освящённому яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хрустень.

Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-круглый день Преображения Господня.

1938

Певчий

В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почётным. Здесь стояли городской голова, полицмейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с не подобающего для него места, но он не слушался, хоть волоком его волочи! Почётные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти! Здесь всё видно!»

Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищёнными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближённые Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепёшки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы…»

Я не мог понять, почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого — пьяницу и сквернослова, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть

прогорклое масло, чёрствый хлеб и никогда не даёт конфет «на придачу». Сто́рожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дублёное, сизое, как у похоронного факельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики — совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например, Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть!

Однажды я заявил отцу с матерью:

— Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!

— Дело это, сынок, простое, — сказал отец, — сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твоё озорство не наслышаны!

— Верно, сынок, — поддакнула мать, — попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!

В этот же день я пошёл к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».

— Войдите!

Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка и на серой бумаге лежал солёный съёженный огурец.

— Тебе что, чадо? — спросил меня каким-то густо-клейким голосом.

— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я не поднимая глаз.

— Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною: «Царю Небесный утешителю…» — Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошёлся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.

— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое «аксиос»? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».

Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:

— И кафтан можно надеть?

— Какой? — не понял регент. — Тришкин?

— Нет… которые певчие носят… эти голубые… с золотыми кисточками…

Он махнул рукой и засмеялся:

— Надевай хоть два!

В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:

— Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!

Кому-то сказал, перехватив через край:

— Приходите в воскресенье меня слушать!

Наступило воскресенье. Я пришёл в собор за час до обедни. Первым делом прошёл в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:

— Ты куда?

— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!

— Эк тебе не терпится!

Я нашёл маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня.

— Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час ещё!

— Ничего. Я подожду.

Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришёл дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.

— Ты что это в кафтане-то?

— Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!..

— Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну что же… «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!»

Началась Литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости, — вот-де достиг! — а тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались Царские врата Литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья произошло нечто страшное для меня…

Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя…» Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа Веры… Когда певчие грянули: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века, аминь», — я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее «а-а-минь!» В глазах моих помутилось. Я съёжился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным

шипящим хрипом простонал:

— Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!

Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нём и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.

Закрыв лицо руками, я шёл по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:

— Это ничего. Это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинёшенек. Ишь, подумал Он, как Вася-то ради Меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался… Ну что же делать, молод ещё, горяч, с кем не бывает… Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!

Я слушал её и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.

Чаша

Когда мы с отцом Виталием сошли с шаткого крыльца его старозаветного домика, нас овеяло дыханием августовской тьмы, шорохом высоких лип и мерцанием звёзд.

— Ночь… — прошептал отец Виталий шёпотом вошедшего в тихий храм. Липовой аллеей мы дошли до белой церкви. Сели среди погоста, на деревянных ступеньках старой часовни, под деревьями. Кругом кресты. Кое-где, над могилами, лампадные огни. В алтарном окне церкви неугасимый свет.

Отец Виталий в белом подряснике. Обхватил руками колени. На плечо упал жёлтый лист.

— Как ночь, нет мне покоя!.. Так вот и брожу по комнатам своим опустелым, по саду, по кладбищу, забираюсь в лес и всё хожу, всё тоскую, всё зову его, тихого. Не утолят скорбь мою ни молитва, ни ночное бодрствование, ни кротость Господних звёзд… Встанешь у престола, да как вспомнишь агнца моего закланного, и умолкнешь!.. Ждут, когда очнётся батюшка, а я стою безгласный перед Чашей Господней и плачу… Глядя на меня, и все предстоящие в церкви плачут…

У отца Виталия затряслись плечи. Закрыл лицо руками.

— Единственный у меня был, после покойницы жены! Ласковый такой да задумный. Рассказы любил про святых мучеников… И всех жалел, всем улыбался сыночек мой маленький!..

Той ночи не забыть мне!.. Пришли это они пьяные, грехом пропахшие. Взломали вот эту самую церковь и вошли в неё в шапках и с папиросами в зубах. Мальчик мой не спал. Увидел и разбудил меня. Как ни просил я его не ходить со мной, пошёл!., как был… в белой ночной рубашечке… Пришли в церковь. А они-то с песнями балагурными Царские врата раскрыли и на престоле свечи зажигали! Плевались и сквернословили. Не высказать того, что было на душе у меня тогда!.. Я молить их стал, пьяных, оголтелых. Бога побояться, не кощунствовать. Они не слушали меня. В спину толкали, волосы на мне рвали, оплёвывали и заушали… Вдруг… вижу! Один из них прикасается к Чаше Господней! К Чаше!

Тут-то и свершилось…

Мой сыночек в алтарь бросился.

И вижу… Ручонками своими маленькими вырывает Чашу Господню из рук пьяного кощунника.

И не поверите ли, вырвал её! Чудом вырвал! Как сейчас вижу его в белом одеянии, как хитон отрока Иисуса, с Чашей Христовой, сходящего по ступеням амвона…

Тут-то за Христа и пострадал светлый мой мальчик. Не успел я подойти к нему, как высокий солдат ударил его прикладом по голове…

И когда увидел его, обагрённого кровью, бездыханного, я не плакал. На душе было ясно-ясно. Спокойно взял его на руки и домой понёс и по рукам моим кровь его струилась.

А вот когда отпел его и похоронил!.. Пришёл с кладбища в сиротливый дом да как вспомнил его, мученика, в белом, как у Христа-отрока, хитоне, в ручках своих сжимающего Чашу Христову, пал я в отчаянии на пол и волосы рвал на себе…

Ничто не утоляет скорбь мою, ибо перед глазами он, ангельская душенька, за Христа пострадавший!..

После долгого молчания отец Виталий сказал:

— Пойдёмте на его могилу и отслужим панихиду.

Мы поднялись со ступенек часовни и пошли служить ночную панихиду.

Древний свет

Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае Первом. Сложен он из просмолённых кряжистых брёвен, ставших от времени сизыми, с зазеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожжённых солнцем ставнях — вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят. Если открыть тяжёлую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая — выжженный огнём четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клёны. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом — в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньём. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.

Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу — дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.

Сын Федота Абрамовича, Артемий, — бойкий, идущий в гору торговец, ждёт не дождётся смерти старика, — дом сразу же он снесёт и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот хмурился и отрывисто возражал:

— Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!

Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал ещё более упрямый

отпор:

— Не имеют законного права! Моя собственность!

В один из летних вечеров я пошёл навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на Валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побежчивая гремь русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюблённых, то исступлённых, тоскою и буйным весельем одержимых… Пушкин с Гоголем вспомнится… Вёрсты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:

— Кого Бог привел?

Он распахнул дверь, вгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки:

— Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!

Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льёт воду, трещит лучинками и по старой своей привычке напевает старинным деревенским ладом:

Цвели в поле цветики, да поблёкли.
Любил парень девушку, да спокинул,
Покинул, душа моя, не надолго,
На едино времечко, на часочек.

В который-то раз я осматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи — Преподобный Сергий Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце. Пучок поблёкших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от Страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб — артос, кожаный синодик с именами усопших — первыми записаны император Александр Второй-Освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников, от века преставшихся, помяни, Господи». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: «Святая гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный Суд», «Сожжение протопопа Аввакума». На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплётах — «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушёными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуретки с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу, на дубовых колёсиках тяжёлый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие…

Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: «Всё это прошлое, освящённое любовью и молитвенным шёпотом, перейдёт к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережёт. Что поценнее, как например

икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжёт или на чердак выбросит».

— Не соответствует веку! — скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.

В раскрытые окна входит вечер. Клёны рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце. Шумит самовар, — на нём отчеканено «Фабрика в Туле братьев Стрельниковых». Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по славянски: «Приемлю и ничесоже противного глаголю». По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьётся резная русская пословица: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». На деревянной чашке с мёдом ложка монастырской работы, а на донце её мелко-мелко выжжена Троице-Сергиева Лавра.

Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается, — рад почаёвничать с пачечайным гостем.

— Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, — кивает он на икону, — никого у меня! Один, как часовня в поле!

— Артемий Федотыч, поди, заходит! — добавил я.

Старик мотнул головою:

— И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неуёмная душа! Эх, деньги, деньги, — семена дьявола… Приступает тут ко мне Артёмка смолою едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей! Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтобы не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым, местом… Пусть подождёт Артемий. Жить мне осталось немного, — во рту уж земляная горечь, матушка земля к себе зовёт!

Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай:

— А правда, бают люди, что закон такой выходит — старые дома ломать?

— Поговаривают, но…

Он не дал мне досказать:

— Ну что ж! Против рожна не попрёшь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели… Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, — кладбище было старинное. Дубы росли. На Синей горе стояла церковь Св. Фёдора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. «Имя Ваше забудется, — как говорит премудрый Соломон, — никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдёт, как облако, и рассеется, как туман».

— Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? — спросил я Федота Абрамовича.

— Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить её, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь… Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячиной: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить…

Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождём. В горнице потемнело. На улице трещало радио. У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Чёрным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играл модный шлягер «Твои ноги, как змеи».

— Эк их, шумят! — мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. — Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди, ведь у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи… Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжёлая у человека жизнь!

По уходе от Федота Абрамовича я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нём одном всегда теплилась лампада. Древний свет её в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

1937

Гробница

Все были изумлены, когда увидели за всенощным бдением Якова Льдова. За своё пятнадцатилетнее проживание в посаде слыл он за безбожника и отступника, так как церкви не признавал, праздников Господних не почитал и обо всём божественном отзывался с хулою и злобой.

Осел он в посаде после гражданской войны, построил большой дом, женился на какой-то пришлой молчаливой бабе и занялся крестьянством. Кто он, откуда — никто не знал, а спросить его не решались. Яков образом был тёмен, волосат и угрюм, на слова скуп, глаза имел пронзительные и человеконенавистные. Именем его пугали беспокойных ребят, и все были уверены, что он, если не бывший душегуб, то, во всяком случае, каким-то чёрным грехом отягощённый. Знали только доподлинно, что он имел немалые деньги, шибко пил, и причём один, ночью, при свечке, при закрытых ставнях.

При входе его в церковь все перешепнулись и стали искоса смотреть на него. Яков стоял прямо, не шевелясь, опустив по швам длинные угрюмые руки. Всех занимал вопрос: перекрестится Яков или нет? Он стоял без движения, остро уставившись в тёмный угол, и даже не опустился вместе с другими на колени, когда пели «Хвалите имя Господне». Почему-то впервые только в церкви заметили, что Яков стал седым, похудевшим и как бы восставшим от долгой болезни.

Всенощная приближалась к концу. За окнами шумел церковными деревьями густой августовский вечер. После пропетия «Взбранной Воеводе» и расстанного, на сон грядущий, благословения отца Кирилла церковь стала пустеть. И когда в ней, кроме священника да причетника, гасившего лампады, никого не стало, к амвону подошёл Яков Льдов.

— Тебе что, Яков? — спросил священник.

— К вам, батюшка. Исповедаться хочу.

По горячей возбуждённости тона и по той нутряной боли, какая прозвенела в словах его, отец Кирилл почувствовал, что исповедь предстоит серьёзная, глубокая и, может быть, страшная.

В полутёмной церкви, озарённой лишь лампадами перед иконостасом, отец Кирилл начал

таинство исповеди. Подойдя к аналою с лежащим на нём Крестом и Евангелием, Яков стал исповедаться. Говорил он отрывисто, угрюмо и тяжело, словно поднимал целину, часто задумывался и вытирал пот на лбу. Временами озирался по сторонам и цепко хватался за аналой.

— Мы отступали, — рассказывал он, — на город наседали красные. Нашей армии приходил конец. И вот, чтобы обеспечить себя покрепче, решились мы, пять человек, на одно необыкновенное дело, — украсть из собора серебряную, драгоценными камнями украшенную гробницу преподобного. Составили мы план. Раздобыли лошадей. На дровнях (зимою дело было) подъехали мы к собору. Требуем церковного сторожа (духовенство разбежалось). Является церковный сторож.

«Ключи от собора! — требуем. — Открывай!»

«На что вам?» — спрашивает сторож.

Объясняем ему: так, мол, и так, сегодня ночью в город войдут красные — и нам главнокомандующий приказал срочно вывезти из собора мощи преподобного за границу, дабы коммунисты не надругались над ними…

«Ежели не веришь, — говорим, — вот мандат за печатью и подписью главнокомандующего».

Поверил нам сторож и открыл собор. Вечерело. Снег пошёл, густой-прегустой. На улицах ни живой души. Все затаились. Вдали орудия бухают. На душе знобно было, но всё же вошли мы в собор и приступили к делу. С большим трудом вытащили гробницу да на дровни, прикрыли тряпьём и соломой, гикнули на лошадей и поехали обходными путями к иноземному рубежу. Всю ночь ехали мы лесными дорогами, утопая в снегу, и путь наш освещался заревом большого пожара — деревня горела. И вот мы за рубежом. Остановились. Лес густой-прегустой. Тут с одним нашим приятелем неладное приключилось. В разуме тронулся. Подошёл это он к гробнице преподобного, да как закричит, да как воскличет, мы даже побледнели все. Стал он то смеяться, то плакать и разные непутёвые слова произносить. Чтобы не возиться с ним, один из наших его из нагана прикончил…

Отец Кирилл нервно взялся за наперсный крест, и рука его ходила дрожью.

Яков задумался, и лицо его сводила судорога. Он долго смотрел на свои руки, поднося к глазам то одну ладонь, то другую. Вынул из кармана платок, развернул его и не знал, что с ним делать.

Священник вывел его из оцепенения тихим вопросом:

— Что же произошло дальше?

— Дальше, батюшка, произошло самое страшное… Мы развели костёр и стали делить нашу добычу на четыре части.

— Гробницу?

— Да, гробницу. Во-первых, мы сняли с гробовой покрышки драгоценные камни, серебряные кресты, золотые пластинки, а далее… топором разрубили серебряный гроб на доли.

— Как же вы поступили с мощами святого? — в ужасе прошептал священник.

— Мы вынули мощи из гроба, вырыли яму и захоронили их…

— Так, значит, мощи святого лежат в нашей земле?

— Да… здесь… неподалёку… но в каком месте — не помню…

Почти до рассвета в окнах домика отца Кирилла горел огонь, и запоздалые путники видели, как священник в тяжёлом раздумье ходил из угла в угол, изредка останавливаясь перед иконами. Долго не гасился свет и в окнах Якова Льдова.

1928

На рубеже

Голубой день. Канун осени. На дороге скрипят телеги, нагружённые ржавыми снопами. Ветер колышет соломку, упавшую с воза. Гудят телефонные провода и каркают вороны.

В монастырь на праздник Успения Божией Матери идут дьякон Филарет, бывший жандарм Михаил Абрикосов, трактирщик Филат Фаддеев и спившийся учитель Саша Незванов.

Дьякон худой и жёлтый. Тихое чахоточное лицо, бородёнка клинушком, серая пыльная ряска. Ветер развевал её полы, и видны были солдатские жёлтые штаны, заправленные в рыжие сапоги. Ушки сапогов наружу. Он шёл впереди всех и пел «Царица моя Преблагая».

Жандарм в помятой фуражке с поблёкшим красным околышем. Всю дорогу он пытался рассказывать анекдоты, но его обрывал дьякон:

— Не бесчинствуй! Памятуй, что в монастырь идём!

Трактирщик в тёплом полупальто «колоколом» и зимней барашковой шапке. За плечами у него котомка. Саша в пиджаке с чужого плеча. На одной ноге у него ботинок, на другой — галоша, привязанная к ноге бечёвкой!

— Выпить бы, — вздыхает Саша и подмигивает трактирщику.

— Скоро дойдём до колодца, — говорит дьякон, — там и попьёшь за милую душу!

— Пей сам, — хмурится Саша. — Филат Ильич! Вынимай бутылочку. Грех её в монастырь-то нести!

Трактирщик угрюмо молчит.

Жиденьким, грустным тенорком дьякон запевает:

К кому возопию, Владычице,
К кому прибегну в горести моей…

Трактирщик подпевает и путает, но этого он не замечает и поёт во всю силу лёгких.

— Тише ты, — толкает его жандарм, — голова болит от твоего пения. Шаляпин какой проявился!

— Много ты в пении понимаешь, — сердится Фаддеев, — таких основательных голосов, как у меня, поискать надо!

— У Филата Ильича голос привлекательный, — льстит Саша, — таких голосов поискать надо! — Он дёргает трактирщика за рукав и нудно тянет: — Вы-ы-нимай бутылочку!..

Над полями разносится голос дьякона: «Надежда христиан и Прибежище нам, грешным…»

Личико дьякона светится умилением, и при взгляде на него все опускают головы и задумываются.

— Ей-Богу, в монастырь поступлю, — вздыхает жандарм, — у меня всегда к нему призвание было!

— Зачем же ты в жандармы пошёл? — спросил трактирщик.

— На то была воля Божья, — елейно, как монашек, ответил Абрикосов, обмахиваясь фуражкой. — Сам Господь по великому Своему произволению…

— В жандармы назначил? — смеясь, подсказал Фаддеев. — Эх ты, Богова ошибка!

— А все же хорошо было в жандармах состоять, — немного подумав, сказал Абрикосов, — главное — все боялись! К тому же и форма была великолепная. В почёте и сытости существовал!

Навстречу путникам шёл старик в длинной линялой рубашке. Сумка, костыль и пыльные сапоги через плечо.

— Куда, дедушка? — спросил дьякон.

— В монастырь, кормильцы! К престольному празднику, поильцы! — визгливо заговорил старик и несколько раз перекрестился.

— Да ты, дедушка, не туда идёшь-то!

— А куда же, анделы мои? — с детской улыбочкой спросил встречный.

— В обратную сторону идёшь, дед!

Старик радостно изумился, всплеснув руками:

— Значит, я заблудился?! Анделы! Пошёл это я в монастырь ближней дорогой. Иду это я. - Ирмосы пою и прочие стихиры. Дошёл до перекрёстка. Туды, значит, дорога и сюды. Дай, думаю, пойду сюды и пошёл это я с молитовкой… Грехи, анделы мои!

— Пойдём с нами за компанию! — предложил жандарм.

— А вы, люди добрые, не обидите меня, старичка — махонького жучка, а?

— Мы не разбойники, а люди благородного сословия, — шмыгнул носом Саша и приосанился.

— Верно твоё слово, андел, — осклабился старичок, зажимая в кулак бородёнку, — душа-то у вас, может, и андельская, но личности ваши тайны преисполнены. Кокнете меня в кусточке по лысинке, и не станет Кузьмы Ивановича!

Жандарм побагровел от злости и выругался:

— Эк, подумаешь, живность какая! Молчал бы ты, старый крокодил!

Кузьма Иванович испуганно замахал сухенькой ручкой:

— Молчу, андел, молчу! Я это к тому, что, ежели не было бы с вами духовной особи, в жисть с вами не пошёл бы. Очень вы на вид сурьёзные!

— Ну и старичишка, ну и яд, вот где гад-то ползучий! — не выдержал спокойный трактирщик.

Старичок посмотрел умилёнными глазами на дьякона, сложил ладони крест-накрест и проговорил:

— Благослови, батюшка!

— По причине дьяконского сана недостоин преподать благословение яко иерей!

Кузьма Иванович опять изумился и радостно завизжал:

— И тут обмишурился, анделы мои!

— Не упоминай всуе андела! — строго заметил дьякон. — Какие мы тебе анделы?

Всю дорогу старик рассказывал тоненьким голоском о том, что если бы ему дали образование, то из него мог бы выйти урядник, а то певчий тенор, и вообще благородный. Он часто шмыгал носом и сразу же всем надоел.

— Хватит тебе в лапти-то звонить, — проворчал трактирщик, — помолчи маленько!

Последних слов Кузьма Иванович не расслышал.

— Я и спеть могу! Голос у меня хороший. Пригодный. Моего тятю, Царство ему Небесное, его тятя раз гармошкой по голове ударил, и с той поры пошли у нас в роду певуны да гармонисты.

Старик набрал воздуха, лихо взмахнул ручкой и пронзительным голосом запел:

Снеги белые пушистые
Покрывали все поля…

От визгливого пения у дьякона заныли зубы, и он с остервенением крикнул:

— Замолчи ты, дедушка! В монастырь идёшь, а песни поёшь!

— Я и замолчать могу, — кротко согласился старик, — я всё могу!

Дошли до родника, окружённого берёзами, остановились отдохнуть у прохладных журчащих вод.

— Слава тебе, Господи, — вздохнул Саша и стал помогать трактирщику снимать котомку.

Берёзы были старые, дуплистые и покрывали землю тихим узорным сумраком.

Путники сели на бугорок, оттуда были видны шумящий лес с дымно-зелёными соснами и далёкие поля с длинными тенями от ржаных скирд.

Дьякон смотрел на монастырскую дорогу и говорил:

— Бывало, по этой дороге богомольцев шло видимо-невидимо. Шли с молитвой, натощак, без мирских рассуждений… Теперь же богомолец не тот. На паломничество как на гулянку смотрят… Да, меняется земля. Ходишь по ней и не узнаёшь прежнего её лика…

Дьякон лёг на землю, прикрыв лицо шляпой, и задремал.

Кузьма Иванович долго смотрел на него и вдруг запел визгливым голосом:

Ангел вопияше Благодатней,
Чистая Дева, радуйся!..

Дьякон вздрогнул, схватился за щёку и простонал:

— Чтоб тебе сгинуть, непутёвая сила!.. Опять зубы заныли… Шли мы себе тихо, по-Божьему… Навязался ты нам на грехи и соблазн!

Юродивый старик моргал глазами и сконфуженно шамкал:

— Прости, отец дьякон. Андел во плоти!..

К солнечному закату подошли к монастырским стенам. Над зелёными куполами собора витали голуби. Из монастырских врат выходил крестный ход. Под горой раскинулась ярмарка. Около телеги, в луже от ночного дождя лежал пьяный в белой рубахе и лакированных сапогах. Он охватил голову руками и бормотал:

— Пра-а-вильно говорил Иван Златоуст, всем труба будет, ежели никто соблюдать себя не хочет… Себя надо держать в совокупности, и вообще…

— Ты бы, дядя, поднялся с лужи-то, — обратился к нему Саша, — не вольготно, поди, в ней лежать?

— Не трожьте меня. Мне и здесь хорошо. Главное — прохладно и людей кругом много. А ты какой губернии?

— Псковской.

— Ха-а-рошая губерния. Правильная. Пойдём ко мне щи хлебать?

— А ты далеко живёшь?

— Недалеча. Тридцать верстов с гаком!

К пьяному подошла старуха на костылях:

— Сичас ко всенощной вдарят. Шёл бы ты в церковь!

— В церковь я не пойду, — мотает головой пьяный, — Царица Небесная на меня гневается…

— На что же Она, Матушка, на тебя гневается-то?

Пьяный залился слезами:

— Дал я, голубушка, зарок. Пока к образу Царицы Небесной не приложусь — пить калаголя не буду. Тридцать вёрст шел к Ней, Заступнице. На последней версте встретил Федьку Горбача.

Увидал меня и говорит: «Выпьем, Трофим!» Не сдержался я да и выпил… Не простит меня Заступница!

— Ничего, Троша, — уговаривала старуха. — Она скорбящая, Милосливая, всё простит…

Около святого источника сидела монашка и рассказывала обступившим её бабам, что вокруг монастырских стен ходит Пресвятая Владычица и о чём-то преогорчённо плачет.

Бабы слушали и смахивали слёзы.

На монастырской звоннице ударили ко всенощному бдению.

Антихрист

Посвящаю Ивану Савину

Медленно, стуча колёсами, плывёт по Волге пароход «Чайковский».

Волжская ночь. Небо, река, берега — всё окутано синими сумерками, всё неясное и задумчивое.

Волга искрилась отражёнными звёздами.

Промелькнул маленький, деловитый пароходик с длинным караваном барж, доверху нагружённых товарами. На одной из них кто-то ругался круто, по-волжски, и пели песню про одинокий курган на Волге, на котором Степан Разин думал свою думу перед походом на Москву.

Палуба «Чайковского» вся была занята переселенцами. Лохматые, угрюмые, бородатые.

Курили. Ругались. Высокий парень в полушубке подошёл к борту, впился в далёкий огонь, потонувший на том берегу в синих далях, и что-то пел про себя, тихо, по-степному, бесконечно и грустно.

Переселенцы спали на грязной палубе. Порой кто-нибудь из спящих вскочит спросонок, поведёт вокруг себя бессмысленным взором, глубоко, по-мужицки вздохнёт и с тихим стоном опять нырнёт в тревожный удушливый сон. Видно, снилась родная, покинутая деревня с чёрными избами, привольно раскинувшиеся, зеленеющие нивы и травы, слышался шум леса, но проснулся, огляделся, и нет ничего — только небо, звёзды, синий ночной мрак.

И думалось при взгляде на переселенцев:

Русь! Вся ты — уходящая в неведомые дали дорога. И куда манишь ты? Вся — порыв, неясное стремление вдаль. Вся история твоя, весь путь твой страннический.

Бросишь избу, простишься, как перед смертью, с родными, зашьёшь в ладанку горсть земли сырой с могилы прадедов и в лапотках, с посохом и сумой, в убогом наряде странницы шагом неспешным идешь ты, Русь, по путям пешеходным.

И кто остановит шаг твой, Русь-странница?

В самом отдалённом и укромном углу палубы вспыхивал мигающий огонёк свечи и сквозь тихие переплёски Волги раздавался мерный, напевный голос:

«И егда отверзе четвертую печать, слышал глас четвертого животного глаголющий: гряди и виждь. И видех, и се конь бледный, и сидящий на нем, имя ему смерть».

На полу сидел старик в ветхом, заплатанном подряснике, опоясанный лыковым поясом, и в стоптанных, исходивших не одну дороженьку лаптях.

Одной заскорузлой рукой старик держал белую помятую свечку, другой — старое Евангелие с медными застёжками.

Со всех сторон к нему приникли сторожкие, казавшиеся при трепетном мигании свечи заплаканными и хмурыми лица крестьян.

Старик дочитал до конца, перекрестился двумя перстами, потушил свечу и вздохнул.

Мистическая жуть вползала в душу. Встала тишина. Слышно было, как с берега, в невиданной деревушке, ночной сторож бил в чугунную доску и в прибрежных камышах тилиликали кулики.

— Идёт время, идёт… — шёпотом нарушил старик молчание. — Кто остановит шествие его? Кто предугадает думы Господни?

Скоро восплачет мир и возрыдает. Идёт день отмщения Господня!

Гордой главой своей касаясь небес и стопами своими земли, идёт по городам греховным, по деревням, рекам и морям, великий и страшный и приведёт в смятение всю поднебесную!

Голос старика опять понизился до шёпота, и он произнёс раздельно:

— А-н-т-и-х-р-ист!..

Слушали напряжённо, не дыша. В страхе притаились суровые люди с детскими испуганными глазами, кивали головами и вздрагивали.

Острыми глазами впился старик в звёзды и как бы сквозь полусон певуче, словно перебирая струны, сказывал:

— В час ночной, когда молитвенны часы и спящий мир безгрешен, раскрывает Спас окно Своей небесной горницы и глядит на маленькую землю и грустит. Он ищет очами звёзды земные — главы и кресты золочёные, где лежит Его любимица — земля святорусская, и, найдя её, долго глядит Спас на звёзды её, золотом горящие, и грустит пуще всего.

Кровью обливается сердце Спасово глядючи, как спит в тихий час ночной Его любимица — Русь Святая и не чует бед и напастей, ей уготованных.

Спит Расеюшка, скорби свои грядущие не ведающая, а Спас жалостный тихо благословляет из окна небесной горницы тихий её покой, а Сам плачет…

Идёт время, идёт… Исполняются сроки. От звезды к звезде, от былинки полевой до камней подводных пронеслась тревога, и затаилась природа, и ждёт дня великого и страшного.

Не чуют люди тревоги и не слышат, как страшно затаилась земля.

Поглядел я на жизнь больших городов, на фабрики, на шум и грохот адских машин, на гордое измышление ума человеческого, на пугливые растерянные лица, на злобу звериную, на

жадность неутолённую, на души неуспокоенные, и сказало мне сердце: «Гибель миру сему!»

Я глядел на детей хилых и болезненных, без Христа живущих, на юношей с речами богохульными и песнями бесстыдными, на девушек в омуте житейском тонущих, и говорило мне сердце: «Скоро гибель!»

Я проходил с посохом и сумой по путям бескрайним Родины моей скорбной, и не нашёл я древлего истового благочестия, умерла старая Русь — скорбница, печальница, молитвенница, и сказал я в сердце своём: «Гибель скоро!»

И глядел я на пастырей-подвижников и видел, как опускались у них руки и слова застывали на устах их при виде беззакония, и голос невидимый сказал мне: «Горе Родине твоей!»

В часы ночные приникал к росной земле и слушал, как гудит она.

Я чуял тревогу в шуме лесов, в мерцании святых звёзд, в тихих переплёсках рек и морей, в кровавых вечерних зорях, в завывании волков, в шуме непогод, в смехе младенца играющего…

И сказало мне сердце: «Наступает день великий и страшный!»

И пошёл я, старый, к людям с тревогой своей и осмеян был, и поруган, и камением был побиен…

Старик вздохнул с тихим всхлипом, и вздох был такой, что казалось, понёсся он в звёздную высь, что дошёл он до самых звёзд и овеял их, чистых, земной тяжкой горечью.

— Кто перенесёт дни грядущие, — с каким-то надрывом продолжал старик, — кто стерпит невыносимую скорбь? Море мятётся, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, души каменеют.

Будут люди искать помощи, а помощи не будет нигде…

Поля Родины нашей усеяны будут трупами братьев и сестёр. Младенец детства своего не увидит и в слезах умрёт на тощей груди голодной матери своей.

Тогда сильно восплачет и воздохнёт всякая душа.

И не будет руки спасающей.
И не будет Бога милующего.

На земле безводной, без цветов полевых и лесов прохладных, воцарится антихрист!

С рыданием будут встречать друг друга, обнимутся и умирать будут на торжищах, и некому будет хоронить… живые завидовать будут мёртвым.

— Что же нам делать, дедушка? — кто-то произнёс в бессильном страхе и заплакал.

Старик подумал, взглянул на звёзды — спросил их о чём-то и шёпотом, раздельно, словно передавая какую-то великую тайну, сказал:

— Молиться надо!

Он закрыл лицо руками, опустил на колени голову, задумался и опять, как в легком прозрачном полусне, зашептал:

— Идёт время, идёт… Кто остановит шествие его? Кто предугадает думу Господню?

В страхе притаились суровые люди, с детскими испуганными глазами, кивали головами и тихо плакали. А кругом ночь. Звёзды. Сияют они над маленькой землёй и шепчут:

— Спи, маленькая, спи. Забудь свои скорби. На тебя глядит из окна небесной горницы Спас Милостивый и тихо сквозь слёзы благословляет.

1924

Падающие звёзды

В старой беседке, пахнущей яблоками, сумерничали сторож Семён — седовласый, бровастый, в полушубке; бобылка Домна, скрюченная старуха с замученными глазами; работник Захар, только что выпущенный из солдат, и пастушок Петюшка — мальчик лет двенадцати, с вымазанными дегтем ногами (чтобы не прели).

В разбитое окно беседки видны были река в дымке осенних сумерек и широкий фруктовый сад в золоте и ржавчине осеннего убора. По саду пробегал упругий ветер, и было слышно, как полновесно падали яблоки.

В беседке говорили о жизни.

— Жизнь прожить — не поле перейти, — рассуждал Петюшка, выбирая в корзине яблоко, — сразу в обнимку её не возьмёшь. За ней поухаживать надо, как парень за девкой. Я уже, почитай, с самой зыбки на земле маюсь и уже успел хватить шилом патоки. Я теперича всё превзошёл! Вот ты, бабушка Домна, всё плачешь да хрундычишь: «Ох, тошненько, и зачем меня мать на свете родила». Таких плакс жизнь не любит. Ежели нюни распустишь, тебя и шибанёт жизнь под самое сердце…

— Да как же не плакать-то, головастик ты мой, — всхлипнула Домна, — когда забыла меня Царица Небесная. Из побоев, попрёков да слёз я сшита!

— Так, говоришь, ты тоже лаптем щи хлебал? — спросил Петюшку сторож, раскуривая трубку.

— Было и так, что не только щей, но даже и лаптей-то у меня в помине не было. С апреля и до первого снега всегда босиком ходил!..

Он в задумчивости поиграл яблоком, подбросив его, как мячик, и сказал:

— Я так полагаю, что жизнь у нас не в пример тяжельше вашей. Вы жили на солнышке, а мы на ветру и на вьюге. Вы того не знали, что мы теперь знали, что мы теперь знаем.

— Это правильно, — согласился Семён, — ребята ноне шустрые пошли!

— Сколько же тебе лет-то, Петруша? — плаксиво спросила Домна, слушавшая его с раскрытым ртом, — уж больно ты заголовистый да вумный!

— С Петрова дня тринадцатый пошёл. Дело, бабушка, не в летах, а в умственности. Иному и шестьдесят лет, да разума нет. Борода с ворота, а ума с калитку!

— Это ты, Петька, не про меня ли? — пробурчал сторож, пощупав широкую бороду, — мне как раз ноне шестьдесят стукнуло!

— А разум у тебя есть? — промерцав глубиной своих больших глаз, спросил Петюшка.

— Знамо дело, есть.

— Ну, значит, я не про тебя. Расти бороду дальше.

Работник, откусив яблоко, фыркнул и чуть не подавился.

Семён нахмурился и погрозил Петюшке пальцем.

— Ты над бородой не смейся. Все святые угодники с бородой ходили!

Петюшка не стерпел, чтобы не спросить с язвинкой:

— Ты, дедушка Семён, тоже святой?

Работник раскатился таким ядрёным хохотом, что тихая Домна вздрогнула и прошипела:

— У, леший, чтоб тебе рассыпаться!

Сторож рассердился и ушёл из беседки, хлопнув дверью.

Было слышно, как ворчал он среди яблонь:

— Шалыганы! Лаптезвоны! Наживите свою бороду, тогда и зубы скальте!

Когда остыли от смеха, то в беседку вошла тишина и острее запахло яблоками.

Петюшка посмотрел в окно, за которым кружился листопадный вечер, цепляясь за реку, яблони, заречную мельницу, и вздохнул:

— Скоро и солнцу конец. Пойдут дожди, а там снег, сани, мороз да вьюга!

— Спаси, Господи, и помилуй, — перекрестилась Домна и согнулась ещё ниже.

Помолчали, и все подумали о солнечных разливах на полях, о золотистом колебании ржаных колосьев, о тёплых пыльных дорогах, по которым так хорошо ходить босиком, о рассыпанных по траве росинках, о румянояблочных утрах и медовых песенных вечерах с коростелями, зарницами, неугасными зорями.

— Скоро, поди, Петюшка, уйдёшь от нас? — спросил работник.

— Недельки через две, а то и раньше!

— Что же ты, болезный, делать-то будешь? — пригорюнилась Домна.

— Жить буду. Получу я за пастушество пять мешков картошки, капусты, огурцов, сукна на костюм, денег и пойду в город. Там газетами буду торговать, а может быть, и в школу поступлю. Хочу в ремесленную. В наше время ремесло надо знать.

— А чей ты будешь? — опять спросил работник затуманенного сумерками Петьку.

— Ничей. Сам по себе. Ни отца, ни матери не знаю. Я уже давно один живу.

— Си-и-ротиночка… — по бабьей своей жалости протянула Домна.

— И тебе не жалко, что ты один на свете мытаришься?

— Не. Я уже большой.

В это время пришёл Семён, потирая руки от вечернего холода.

— Зябко, — сказал он и уселся на полу.

— В жизни я не пропаду, — продолжал Петька, — у меня метинка есть!

— А где она, эта метинка-то? — спросил сторож.

— Тута вот!

Петька показал на подбородок.

Все молча пощупали свои подбородки и вздохнули.

— А у нас и нет этой метинки… Вот жалость-то, прости Господи!..

Окно беседки стало чёрным, и по небу побежали звёзды. Работник хрустко зевнул и сказал:

— Пора на боковую!

Все вышли на крыльцо и молча посмотрели на шуршащий сад и на небо, по-осеннему просторное, пронзённое чёткими звёздами.

Одна из звёзд оборвалась с неба и ярко упала.

Домна вздохнула и перекрестилась:

— Чья-то душенька с телом рассталась… Помяни её, Господи, в селениях райских…

Работник и Домна, шурша опавшими листьями, пошли к дому. В саду остались лишь Семён да Петюшка.

— Тебе не холодно босиком-то?

— Не. Я закалённый!

Перед сном обошли все дорожки сада. Около беседки, в которой они ночевали, Петюшка остановился:

— Дедушка Семён! Ты меня прости, что я над твоею бородой надсмеялся!

— Ну, ну, ладно, Петюшка. Так говоришь, что ты с метинкой родился?

— С метинкой, дедушка!

— Не пропадёшь в жизни?

— Ей-Богу, не пропаду!

— Ну, дай тебе Царь Небесный всякого на земле благополучия. Только не будь в жизни спорым. К жизни надо подходить тихонечко, как к горячей лошади. Помни стариковскую

заповедь: «Тише едешь, дальше будешь».

Петька помолчал немного и строго возразил:

— По моему разумению, дедушка, в жизни надо быть горячим и быстрым. Тихо ездить никак не возможно. Тише поедешь, каждый тебя обогнать может. Теперь даже и курица быстрее ходить стала. Пойди она как в твоё время, так её машина раздавит.

— И то правда, но всё же стариков слушать надо!

— Ты меня, дедушка, прости, но я размышляю так: стариков слушать надо, но поступать по-своему!

Семёну хотелось обидеться на Петькины слова и дать ему подзатыльника, но вместо этого погладил его по голове и подумал: «Как бы не напутать ему в жизни своими советами. Ишь, он каким заголовистым уродился! Помолчу лучше…»

А вслух заметил:

— Это ты… насчет этих смыслов правильно рассудил…

Когда Петюшка заснул в беседке рядом с яблоками, то Семён долго сидел около его изголовья и думал: «Жизнь-то, Господи, как шагнула! Ребята-то ноне, как старики, рассуждать стали. К лучшему это, Господи, али к худшему? Ишь ты, шалыган, — тихо улыбался Семён, — иному, говорит, и шестьдесят лет, да разума нет!..»

В окно было видно, как по небу промерцала падающая звезда. Вспомнились слова Домны: «Чья-то душенька с телом рассталась…»

— Ты и мы, как эти звёзды-паданицы… Посветили на Божьем свете, и хватит. Пусть зреют новые звёзды… Всё должно иметь место своё и черёд свой… А мальчонке-то, поди, зябко спать?..

Семён снял с себя шубу, покрыл ею уснувшего мальчика и с содроганием подумал, что он согревает новую жизнь, нежное семя Господне!..

— Спи, Петюшка, спи, заголовистый мужичок!

1934

Тревога

В раскрытое окно густой синей прохладой входил осенний вечер. Горько пахло угасающей травой. В колодец падали с висящего ведра гулкие капли воды. В тишине застывшего вечера звуки этих капель казались единственными на земле.

По случаю убийства старообрядного начётчика Аввакума собственным сыном Кузькой Жиганом деревня была в оцепенении и в затаённом шёпоте. Ни голосов, ни песен, ни собачьего даже лая. На подоконник упал алый кленовый лист.

Отец Сергий взял его и сказал:

— Грядёт осень…

Повернул ко мне лицо своё. Лицо сельского батюшки. Тихое, обыкновенное, незапоминающееся. Таких лиц много, как былинок в русских полях. Глаза только не простые — не то надземные, не то безумные.

— Вот и не стало Аввакума, — сказал он, и зябко съёжились плечи. Помолчал долгим думающим молчанием и неожиданно запел страннического распевом, опустив голову и скрестив бледные священнические руки:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известен плач сердечный мой.
Кто бы мне дал источник слез,
Я плакал бы и день и нощь…

— Песня эта прозывается «Плач Иосифа Прекрасного», — пояснил отец Сергий, — любимая песня покойного Аввакума. Сядет, бывало, вечером на ступеньки своей бревенчатой молельни, воззрится на небеса, сложит руки крест-накрест и запоёт… Стих долгий и трогательный! О том он, как Иосифа продавали в рабство и как он плакал, ведомый в землю Египетскую:

Увиждь мати Иосифа…
Возстани скоро из гроба.
Твое чадо любимое
Ведомо есть погаными.
Моя братия продаша им,
Иду ныне во работу к ним.

Заслышат голос Аввакума и ползком-ползком к нему, под кусты, в засень, чтобы послушать его… Хорошо пел старче — душевно и усладно, по-старорусски! Хоть и не любил он, Царство ему Небесное, нас, никониан, но я-то любил его и никогда не пререкался с ним о вере. Он видом своим благочестивым, поступью и речью тоску будил по ушедшей русской земле. Дремучей, исконной, сосно́й и родниками святыми шумящей!

Таких стариков, как Аввакум, больше не встретишь!..

— А за что сын-то на него так посягнул? — спросил я затуманенного сумерками отца Сергия.

— Неведомо. Нощь бо есть в народе русском!

Отец Сергий закрыл окно. К земле приникала ночь. В деревне горел лишь один огонёк.

— Это в Аввакумовой избе свет. Готовят его в дорогу. Да, не стало Аввакума. Отмерла ещё ветвь на древе древлего благочестия. До вашего прихода полиция вела мимо моего окна связанного Кузьку. Увидал меня и крикнул: «Окости меня, батька». Я благословил его.

Отец Сергий поднялся с места и зажёг лампаду. На иконе Спаситель с Евангелием. Глаза непреклонные и грозные, смотрящие на все стороны.

«Такие же глаза будут у Него, когда Он придёт судить живых и мёртвых», — почему-то подумал я. Моя дума передалась отцу Сергию и колыхнула что-то близкое для него и тревожное. Он взволнованно заходил по горенке. Встал около меня. Маленький и как бы пушистый от седой своей бороды. Он спросил меня дрогнувшим голосом:

— Вы верите в близкое наступление Страшного Суда?

Я ничего не ответил.

— А я верю, — сказал он потаённым шёпотом, — так вот и кажется, что сейчас вострубят Архангелы в свои трубы и мёртвые восстанут из гробов своих.

Я хотел сказать ему, что это нервы и последствия пережитого нами за эти ужасные годы — Страшному Суду подобные!

— Вы не думайте, — пылко вознёсся его голос, — что эта тревога вызвана убийством, осенними шорохами, старостью моей или перенесённым нами за войну и революцию, — нет! Точно вам объяснить не могу. Скажу лишь, что я по ночам спать не могу. Встаю, зажигаю свечу и начинаю молиться… Посмотрю в окно на спящую землю нашу и плачу, что она и деяния рук наших обречены на гибель!.. Всё превратится в первозданную тьму, над которой никогда больше не прогремит голос Творца — да будет свет!..

Отец Сергий посмотрел на икону. Долго не решался говорить.

— Сегодня выношу за литургией Чашу Господню, — сказал он в тревоге, — и, перед тем как произнести запричастную молитву «Верую, Господи, и исповедую», меня вдруг опалила мысль: а не в последнюю ли годину мы приобщаем мир Кровью Христовой?..

Уже ночь была, когда я вышел из горенки отца Сергия. Путь мой лежал через поле. На небе было много звёзд, и земля, сжатая густой тишиной, казалась пустынной и брошенной.

Чувствовалось страшное сиротство своё среди угасающего русского поля. Чтобы рассеять это чувство и укрепить себя в мысли, что ты не один, я обернулся в сторону домика отца Сергия.

В окне заколебался огонёк свечи. Он то возносился, то опускался… Это отец Сергий, охваченный тревогой, со свечой в руке, молился с коленопреклонением: «Да мимо идет нас чаша сия…»

Всю дорогу шёл со мной шёпот отца Сергия:

«А не в последнюю ли годину мы приобщаем мир Кровью Христовой?»

Святое Святых

Желание войти в Святое Святых церкви не давало мне покоя.

В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаённую свою думу:

«Помоги мне, Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!»

Бог услышал мою молитву.

Однажды пришёл к отцу соборный дьякон — принёс сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:

— Что это тебя, отроча, в церкви не видать?

За меня ответил отец:

— Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!

Дьякон погладил меня по голове и сказал:

— Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да не кому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной в алтарь — кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?

Через смущение и радостные слёзы я прошептал нашу деревенскую благодарность:

— Спаси, Господи!

И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подыконника дедовские староверческие чётки — лестовку, и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.

Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:

— Э… монах в коленкоровых штанах!

Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «Да не зайдёт солнце во гневе нашем».

Наступила суббота. Умытым и причёсанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь.

Ко мне подошёл сторож Евстигней.

— Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарём хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, — напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, — всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!

Я не слышал, как вошёл в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле и по древним сказаниям днём и ночью ходят со славословиями Ангелы Божии, и во время Литургии взблёскивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые… Я оцепенел весь от радости — радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.

— Ну, приучайся к делу! — сказал сторож. — Вот это уголь, — показал мне прессованный, хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. — Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола — место сие святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и Царскими вратами — грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты Царские врата… Понял?

От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.

— А где же мой стихарь? — спросил я. — Отец дьякон обещал!

— Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно.

Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!

В это время ударили в большой колокол. От первого удара, вспомнилось мне, нечистая сила «яже в мире» вздрагивает, от второго бежит и после третьего над землёю начинают летать Ангелы, и тогда надо перекреститься.

В алтарь пришёл дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!

За ним отец Василий — маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:

— Служи и не балуй! Всё должно быть благообразно и по чину.

Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.

Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:

— Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?

— Нет ещё. Обещалась на днях.

— Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!

Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?

После всенощной я обо всём этом рассказал матери.

— Люди, они, сынок, люди, — вздохнула она, — и не то, может быть, ещё увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его брошены грешником? Человек ещё не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придёт время — вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нём пшеницу среди сорной травы.

— Держи карман шире! — проворчал отец, засучивая щетину в дратву. — Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они всё же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!

Мать так и вскинулась на отца:

— Ты бы лучше оглянулся и узнал, кто стоит за твоей спиною!

Отец вздрогнул:

— Кто?

— Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутёвые слова. Они не твои. Не огорчай Ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, — обратилась она ко мне, — не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжёлая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо: что от души идёт и что от крови!

В школу

В окно брезжит мутное, иззябшее утро хмурого октября. Воет сиверко, нагоняя на душу тягучие, серые думы. Стучит неплотно притворенный ставень. Сеет дождь. За окном жмётся от холода старая берёза и мокрыми сучьями царапает по заплаканному окну.

Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью прислушиваюсь, как стонет и воет непогода.

В комнате у нас уютно. Мать топит большую русскую печь. Пламя так и полыхает, обдавая приятным теплом. Домовито пахнет дымом и тянет острой струйкой жареного картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на тебя румяные баранки.

Отец при свете яркой лампы сидит у верстака, подбивает подмётку на большом рыбацком сапоге и поёт:

Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Как по этому колечку
Буду плакать день и ночь.

«Петьке и Кузьке хуже всего, — поглядывая в окно, размышляю я о своих приятелях, недавно поступивших в школу. — Сичас встанут, не успеют поесть как следовать быть, по такой размокропогодице в школу пойдут… Никогда я в школу ходить не буду… Не по што. Ну ее к ляду. От учителей, говорят, житья никакого нет…

Дома куды лучше. Никакой тебе заботушки… Сичас встану, поем и буду тятьке помогать сапоги подбивать… Хо-о-рошо!..»

Трещат сырые дрова, рассыпаясь искрами, как золотой мошкарой. Далеко вылетают из печи угольки — гости будут.

По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые отблески.

За окном так же уныло и безрадостно сечёт дождь. В сероватой мути рассвета чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, неприглядное небо.

Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моём детском мозгу, сшибают одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то рассыпаются и тают словно серебристые тонкие волны.

То я думаю о старой берёзе за окном: зябко ей, наверное, ишь, как, сердешная, царапает она по окну сучьями — словно просит впустить её погреться. Одеть бы на неё шубу…

То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой.

И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на нём стоят ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья…

— Митроша! — вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских мыслей.

Я удивлённо насторожился и затаил дыхание: «Почему это он меня сегодня так ласково называет? Раньше всё Митрошка, вахлак, эфиоп, а теперь поди ты… Ми-итроша!.. Чудно уж что-то! Митрошей зовёт только тогда, когда именинник али в большой праздник…».

Мать положила ухват и грустно на меня посмотрела.

Ёкнуло сердце, томясь каким-то предчувствием.

— Седни я тебя, сынок, благословясь в школу поведу, — ласково, шутливым тоном говорит отец. — Пусть тебя там уму-разуму научат. Полно остреливать-то без дела. Поди, соскучился по грамоте-то? Вон Кузька, тебе ровесник, а как учится — словно по лесенке идёт… Какую хошь грамоту прочтёт… Газеты читает! Во какой складный уродился!..

— И то правда, сынок, — произносит мать и почему-то смахивает слезу с глаз, — учёба нужна; без учёбы ты словно тёмная ночь. Выучишься в школе читать. Псалтырь царя Давида почитаешь. На деревню письмо напишешь бабушке Степаниде. То-то обрадуется!.. Вишь, скажет, Митрофан-то какой дошлый стал… Грамоте выучился…

— В школу? — разеваю я от изумления и ужаса рот. — Батюшки, батюшки… Ба… тю… ба…

Жгут слёзы. Кривится рот. Хочется залиться безудержным плачем…

Хотел что-то сказать, давился, и выходило какое-то невнятное бормотание. Сдержался, но не заплакал. Шмыгнул носом, заложил руки за голову и почти сразу стал мечтать, глядя в низкий закопчённый потолок: «Выучусь, значит, грамоте… Напишу письмо бабушке Степаниде… Дорогая, мол, баушка… Я грамоте научился и это самое письмо пишу сам… То-то удивится! Вся деревня, поди, узнает!..»

Я зажмуриваюсь от восхищения и уже успокоенный, позабыв про сердитых учителей, спрашиваю отца:

— Тять!.. А скоро в этой самой школе грамоте-то можно научиться?

— А как стараться будешь, голубь мой, — отвечает отец, затачивая голенище. — Вот твой отец так в две недели грамоту превозмог… Если ты мозговитый — в отца, так в месяц выучишься… Наука-то, она вещь мудреная, сынок, это не сапоги подбивать… Да… Ты в науку-то вникай поприлежнее. Не срами нашу губернию. Когда объясняют что, ты уши-то шире растопырь, не развешивай… Старайся. Лоб искровяни, а своего добейся. Учиться не будешь — на глаза не показывайся… Запорю!..

Решительную минуту я задумался и пил чай с баранками несколько пасмурный. Мать меня поглаживала по голове, угощала брусничным вареньем, но это меня не веселило.

— Ну, пей же, сынок, поскорее. Пей, голубчик… одеваться сичас надо в школу…

— Подождите! — отвечал я грубо, медленно потягивая чай. — Не обвариться же мне для вас… Успеете с козой на торг!.. Небось — обрадовались…

Одели на меня ситцевую рубашку с горошками, сапоги с голенищами, дали гривенник, благословили и повели меня в школу.

1924

Митрошка

Митрошка, угловатый и молчаливый мальчик в длинных отцовских брюках, с вихрами всклокоченных волос на большой, похожей на жбан голове, был сыном пьяницы портного Клима Филатова.

Родился Митрошка кругленьким, румяным, с серыми умными глазами, с серьёзным вдумчивым личиком. Когда бабка приняла его от матери, свила в пелёнки, ошептала молитвами и положила в люльку, Митрошка, как большой и понятливый, серьёзно огляделся вокруг, чмокнул губками и глубоко, по-мужицки, вздохнул.

— Чевой это ты вздыхаешь, андельская душенька? — любовно спросила его слабая и больная мать.

— Настоящий дьякон соборный будет!.. Ишь, грудастый да сурьёзный какой… Весь в отца! — с умилением говорил Клим, с гордостью поглядывая на своего первенца. — И лоб отцовский, и глаза как у меня…

— Сравнил яичницу с колокольней! — недовольно заметила жена. — Сам ты, как ёж… Стямлой, как палка с набалдашником, опухший весь от пьянства-то, — а он-то, цветочек, как херувим, как яблочко наливное!.. На радость ли родился, мой болезный? — скорбно спрашивала мать Митрошку.

Митрошка сжал губы, глубоко вздохнул и деловито обвёл своими большими раздумными глазами грязные стены своего жилища, закопчённый потолок, большой портняжный стол и низенькое подслеповатое оконце с радужными от грязи стёклами, на которых красовались вырезанные из бумаги ножницы и брюки. «Живёте-то вы неважно… Черно у вас и неуютно!» — казалось, говорили его большие удивлённые глаза.

* * *

Одиноким, нелюдимым рос Митрошка в маленьком захолустном городке, на берегу омутистой речки Болотовки.

Заберётся, бывало, он на старую, над рекой, иву, часами смотрит вдаль, и думает о чём-то и тихо рассуждает сам с собой.

Раз подслушали его слова:

— Ты, ветер, не особенно злись! — укоризненно говорил он. — Поласковее дуй… А то как дунешь что есть мочи, наша фатера так и ходит, словно на ходульях…

Когда я большой вырасту, то всепременно пойду искать золоты ключи в Волге-матушке… Злой чародей бросил их, чтобы люди больше страдали и мучились… А ключи те — от счастья и радости человеческой… Сказывала мне бабка: коли найти эти ключи, так людей от нищеты и болезней спасёшь… А как найти их?.. Вот в этом загвоздка!..

Поймает Митрошка жирного хозяйского кота Сеньку и говорит с ним как с человеком

понятливым и рассудительным.

— А мой тятька седни опять загулял! — жаловался Митрошка, поглаживая кота по спине. — Ушёл ни свет ни заря… взял под мышку чужие брюки, пропьет, придёт домой вдрызг пьяным и будет бредить, чертей отгонять… Боюсь страсть, когда пьяные бредят!..

Хорошая у вас жизнь, кошачья физия… Сытая. Картофеля и копчёной селёдки сколько хошь, столько и ешь!.. Куды захотел, туды и побёг!..

Кот Сенька слушает Митрошку внимательно, щурится от солнышка и мурлычет, словно понимает.

— Ну какая это жисть! — жалостливо пенял Митрошка. — Седни стянул я с полки копчёную салачину, а тятька поймал меня и по спине два раза огрел аршином. Эва, погляди, рубцы на спине какие!..

Митрошка поднимает свою рваную ситцевую рубашку и показывает коту худощавую спину в синих рубцах…

Кот урчал и ласково юлил около Митрошки.

— Чудной ты у нас, Митрошка! В кого это ты уродился таким? — спрашивал пьяный Клим, обняв его за шею. — Когда родился только, ты умнее горазд был!.. Вдыхал ты да ворковал, как отец дьякон… Удивил всех. Думали, что из тебя умный человек выйдет… А теперь девять лет тебе и умственных способностей у тебя не ощущается… С котами по-человечески рассуждаешь… Разве коты могут понимать тебя?.. Седни опять учительница жалилась на тебя, что ты по рихметике плохо учишься… Всё колы тебе ставят. Поговорить ты с людьми не умеешь… А если и скажешь слово, так на пятачок убытку и осрамишь всю губернию!..

— Не знаю, тять! Каков уродился, таков и есть! — отмалчивался Митрошка, опустив глаза в землю. — Я больно природу люблю, седни закат был прекрасный! — одушевлялся Митрошка, и бледные щёки его вспыхивали румянцем. — Краски на небе разные-преразные… солнышко красное было, как огонёк в красной лампаде, и оно таяло так тихо-тихо и словно, тять, в какое-то розовое море опускалось…

Тять, грустно мне бывает, когда солнышко погасает… я всегда протягиваю руки к солнышку, словно задержать его хочу… а оно гаснет тихо, тихо, как песня.

Тять, можно остановить солнышко, чтобы оно всегда светило и не закатывалось?

— Нельзя! — шептал Клим, поникнув кудлатой головой и думая о чём-то неотвязном, безрадостном.

— Почему, тять, всё хорошее и светлое так скоро кончается?..

Тять, уйти бы в луга, в цветы… маленькую избу построить на берегу реки, около леса… чтобы вдали церковь была маленькая, старинная, как у нас на селе, и по утрам и вечерам звонили бы в маленький колокол… я, тятька, звон страсть как люблю!.. Мне учительша про рихметику толкует, а у меня перед глазами луга цветистые, леса чёрные, как в сказке, а в ушах звон речки, шелест травы и чья-то песня, вроде той, что певают деды у монастырских ворот…

— Чудной ты, Митрошка…

— Тятька, что, душа у кота есть?

— Дурында ты большая, Митрошка! Кто же ему мог душу всунуть! Ведь кот-то бездушевный!

— И коты, значит, не могут понимать нашего разговору?

— Коты-то? — переспрашивает Клим, видимо, озадаченный вопросом, и, не удовлетворив Митрошку ответом, шепчет раздумчиво:

— Дурында ты, Митрошка, писаная…

— Тятька, зачем меня на улице ребятишки побогаче голодранцем зовут?

— На то они и богатые, чтобы над бедными издёвки творить!..

— А почему ты не разбогател?

— Потому что ума у меня много! Умные люди завсегда не жравши сидят…

Лежит Митрошка на берегу речки Болотовки, слушает, как поёт она, и думает: как бы найти золоты ключи в Волге-матушке и раскрыть райские двери…

И не будет тогда бедности и слёз, и ребятишки побогаче дразнить тебя не будут и не будут бить аршином за украденную салаку, и солнышко, золотое, доброе, будет светить всегда…

Как бы найти ключи заветные от радости и счастья человеческого?

* * *

Митрошке пятнадцать лет. Такой же задумчивый и угловатый, в длинных отцовских брюках и с вихрами волос. Книжки стал доставать читать, с котами перестал дружбу водить и в укромном уголку стал что-то писать.

Придёт Клим пьяным, лежит на полу и бредит…

В окно дождь сочит осенний. Ветер рвёт ставень и завывает в трубе. Мать сидит у окна и шьёт при свете маленькой лампы.

Митрошка лежит на портняжном столе и пишет огрызком карандаша на серой лавочной бумаге.

— Чевой ты, сынок, там пишешь?

— Так, ничего! — отвечает Митрошка.

Раз Митрошку услали в лавку за селёдками. А Клим вынул из его сундучка «писанья» и стал читать по складам:

«Жить надо как следовать быть… Любовь должна как солнце светить на земле, и каждый из человеков из всех сил должен стараться найти золотые ключи человеческого счастья. У нас нет жизни — а есть слёзы…

…Хорошо быть с природой. Она имеет очень понятливую душу. Глядишь на неё, и на душе у тебя радостно и покойно… И хочется мне с тятькой и мамкой уйти очень далеко…»

«Ишь ты, какой занятный!» — самодовольно бормочет Клим.

— Агафья, послушай, что наш Митрошка-то пишет!

«Видел я сон. Как будто бы я шёл по очень большому полю, и на мне была одежда, как у - Архангела, что на картине, и одежда эта белая — снега белее, и в руке у меня восковая свеча, и горит свеча очень светло и всю дорогу освещает, а дорога была гладкая. На душе у меня была такая радость, как в тот день, когда тятька не пьянствует и мы пьём чай с баранками…

И вот подул ветер, сильный-пресильный… и потушил мой огонёк.

И темно сделалось вокруг. И на душе у меня было очень страшно.

Я проснулся, была ночь, тятька лежал на полу пьяный и бредил…»

— Чудной Митрошка! — растроганно шептал Клим, всплакнув над его писаньем.

1923

Родные огни (Этюд)

Сквозная и голубая, как ломкий весенний лёд, осень. Воздух пахнет родниковой водой. В лужах небесная синь, блёстки солнца и увядшие листья.

Большая с глубокими колеями дорога. Поникшие верстовые столбы. По обе стороны дороги широкие крылья полей. Над ржаными скирдами вьются вороны. От земли идет тонкий-тонкий, едва ощутимый хрустальный звон, какой бывает только солнечной листопадной осенью.

На старом тарантасе, на котором когда-то ездили сельские батюшки и деревенские богатеи, мы проехали много вёрст. Костлявой рыжей лошадью, прозванной Самолётом, правит крепкий старик Савва, пахнущий овчиной, ржаным хлебом и дымом избы, — запах избяной, ржаной Руси!

Несмотря на то что много было тряски, часто приходилось переезжать через большие осенние лужи, было приятно сидеть в пыльном тарантасе на душистом сене, следить за переходами и тонами теней, слушать землю и пить осенний родниковый воздух.

Савва везёт меня к русскому рубежу — Чудскому озеру, откуда видна Россия, слышно Её дыхание, и даже в тихие, безветренные часы доносятся с того берега звоны сельской церковки и отголоски вечерних девичьих песен.

Савва, пережёвывая кусок ржаного хлеба, с умилением говорит:

— Близко, ой как близко, братишка, живём мы от Неё!

Я чувствую, о ком говорит Савва, но мне захотелось переспросить его, чтобы лишний раз услышать слово «Россия».

— От кого это вы живёте так близко?

— От России-скорбницы, — поясняет Савва. — Она у меня из окна видна. А ежели, братишка, взобраться на колокольню, то и людей увидишь на той стороне. Ей-Богу! — Савва чувствует, что я с большой радостью и болью слушаю о России. И он рассказывает о Ней с удовольствием,

вплетая в свои слова и грусть, и улыбку, и вздох.

— Мы даже перекликаемся с тем берегом-то! — дополняет Савва.

— Как же это вы делаете? Расскажите.

— Живем мы, братишка, на берегу Чудского озера. Одна половина озера за большевиками, другая за эстонским народом. Каждое утро как с той, так и с другой стороны выезжают на озеро рыбаки. Завидим друг друга да и давай голоса подавать:

— Ваня, это ты?

— Андрюше почтение!

— Низкий поклон бабушке Настасье!

Так вот и перекликаемся.

Лошадь доплелась до придорожной берёзы и остановилась под ее золотистой сенью.

— Конёк-то отдохнуть хочет, — сказал Савва, — ну и пусть отдохнёт. Стариком стал Самолёт-то, а раньше-то был как вихрь, незадарма его Самолётом прозвали.

Савва набил трубку крепким эстонским самосадом.

— Когда-то, при Николае Александровиче, мы дружили с тем берегом-то, и даже родственники имеются как у них, так и у нас. У меня там дочка, Аграфена Саввишна, замужем за Палькой Козловым. Ну и, конечно, братишка, хочется порой с ними перекликнуться, про ихнее житье-то узнать, чай ведь своя кровь. Вот видишь, как близко живём от России — рукой подать.

Оба мы задумались. Савва перестал курить. На сердце лежала одна дума — о ней, о России, такой ощутимой, близкой и такой далёкой… такой недостижимой…

Придорожная берёза осыпала нас золотом своего прощального осеннего убора. Крохотный листик упал на землистую сморщенную руку Саввы, и был он таким золотисто-зоревым, что казалось, застыло на нём солнечное лобзание.

— Так вот и мы, братишка, как эти листочки, — вздохнул он тяжёлым крестьянским вздохом, — оторвались от родного дерева и кругами, кругами разлетелись кто куда. Очень всё это прискорбно. И когда испием до дна чашу нашей горечи?

Тихим-тихим, едва ощутимым хрустальным звоном звенела листопадная земля. Пахло болотной сыростью и осенним увяданием. В недалёкой роще звенел топор, и это почему-то особенно напоминало осень. Солнце уже ушло, и только яркими платками пылали на небе зори. От зорь на земле алое озарение и нездешняя ласковость, какая бывает в монастырском храме после вечерни. Мы подъезжали к Чудскому озеру. Уже издали подуло на нас свежестью большой воды. Промерцали кресты белой церкви. С русской стороны дул ветер — русский ветер, который пробегал по лесам, равнинам, дорогам и соломенным крышам родной земли. Далёкий берег тонул в грустных осенних сумерках, но всё же были видны очертания чёрных изб, деревьев, мельницы и одинокой лодки.

Россия…

Я снял шапку и в глубокой тоске перекрестился на далёкий сумеречный берег. Мозг, сердце и

душу обжигали два грустных слова, оброненных Саввой во время нашей дорожной беседы: «Россия-скорбница!»

В дымной избе Саввы пили чай и смотрели в окно на Россию, и нам было видно, как в далёких крестьянских избах зажигались сиротливые вечерние огни.

Ночью я поднялся с соломенной постели и осторожно, не дыша, боясь разбудить Савву, опять подошёл к окну, и смотрел в молчаливую осеннюю ночь, стараясь отыскать огни моей Родины, но было темно и лишь шуршала листопадная земля.

1930

Ветер

Седыми от инея полями, синим осенним предутренником, чахлый мужичонко Трифон вёз на скрипучей телеге Павла Тригорина в маленький уездный городишко. Пятнадцать лет не был Тригорин в своём городе. А когда-то, босоногим мальчуганом, бегал по его зелёным улицам, таскал с ребятами яблоки с чужих садов, подавал в церкви кадило батюшке Андрею, учился в церковно-приходской школе и тайком вздыхал по батюшкиной дочке Насте.

Тригорин призакрыл глаза и представил себе маленький городок, с его тенистыми одичавшими садами, крепкими купеческими домами, ленивой омутистой речкой, базарной площадью с запахом сена и мучных складов, придорожными часовнями и тихими лампадными огнями на зелёном кладбище.

В поле было пустынно и холодно. Ветер сгибал придорожные берёзы. По небесной пустыне летели журавли.

— А далёко, поди, журавль летит? — спросил Трифон.

— За тысячи вёрст.

— А ты не врёшь?

— Зачем же мне врать-то, чудак ты этакий!

Трифон наморщил лоб, задумался… Вероятно, силился представить себе то огромное пространство, которое должны перелететь птицы.

— Даст же Господь такое разумение Своей твари! Без языка, без конпаса летят они тыщи вёрст и прилетают на место своё. По моему разумению, птица, выходит, умнее другого человека. Возьмём, к примеру, меня. Скажи мне: «Трифон, иди пешком в Москву…» Да я, ей-Богу, разов двадцать заблудился бы.

По дороге встретился лохматый мужик в солдатской шинели и с курицей под мышкой.

Трифон остановил лошадь и спросил:

— Куда, борода, шагаешь?

— В Козьево, к свояку, Кузьме Ивановичу, — хлюпнув носом, ответил путник.

— Зачем?

— В гости. Вчерась сказывали, что у Кузьмы Ивановича запой открылся. Иду проздравлять его. Вот и курицу ему несу. А вы куда?

— В город.

— Так-так…

Мужику хотелось ещё кое-что спросить, но в это время закудахтала курица, и он махнул рукой.

Не успела телега отъехать и двух сажень, как позади раздался голос путника:

— Эй, братишки! Остановитесь!

— Чево тебе?

— В деревню Козьево я правильно иду? — спросил мужик.

— Правильно. Ты что ж, впервой идёшь что ли по этой дороге?

— Ходил, конешно, но сегодня я что-то в сумлении. Это, поди, со вчерашнего самогона у меня в кумполе муть и задумчивость. Извиняемся.

— Я же говорил вам, — заметил Трифон Тригорину, — что журавь умнее человека!

Тригорину захотелось узнать что-нибудь про свой родной город и особенно про отца Андрея, к которому ехал в гости.

— Поди, постарел теперь отец Андрей-то? — спросил он Трифона.

— По земле ходить уже едва может, за небо цепляется…

Трифон посмотрел на высохший ольшанник и добавил:

— Старый лес рушится, молодой растёт…

Хотелось Тригорину спросить и про Настю, но промолчал.

Проезжали мимо выжженного пожаром старого парка. На месте барского особняка с белыми колоннами чернело пепелище. А когда-то здесь гудели дубы, берёзы и липы. Из раскрытых окон доносились звуки рояля, и на балконе часто мелькало белое девичье платье.

— Сожгли! — сказал Трифон, указывая кнутовищем на выгоревший опустелый парк. — Во время пожара сгорела дочка баринова, барышня Нина Николаевна. В ту ночь, дело осенью было, замутившиеся души перестреляли всех собак на псарне и любимой бариновой лошади штыками глаза выкололи…

На дорогу выбежала старая прихрамывающая собака. Она не залаяла, а только посмотрела на проезжающих тусклыми глазами.

— Барская собака-то, — пояснил Трифон, — любимица Нины Николаевны. Один командующий увёз было эту собаку с собой, но она, сказывают люди, перегрызла ему, сонному, глотку и опять сюда прибежала. Так вот и живёт здесь в погребе. И любопытная, скажу вам, собака. Ни на кого она так не лает, как на людей, которые в солдатских папахах…

Дорога опять пошла унылыми осенними полями с придорожными вётлами, верстовыми столбами, кустами и далёкими избами. На мгновение выглянуло тусклое солнце и осветило рыжую щетину поля. Ветер принёс откуда-то запах смолистого дыма.

— Большая скорбь ведь у отца Андрея-то, — сказал Трифон.

— Какая скорбь? — спросил Тригорин и подумал: «Наверное, умерла Настя…»

— Навязался ему на шею отец Петро. Не поп, скажу я вам, а прямо-таки аспид. Сам махонький, кубовастенький, но зловредный.

— Какой же это отец Петр-то?

— Петро-то? — переспросил Трифон. — Да он у нас в Богоявленской церкви вторым священником служит. Отцу-то Андрею по немощи телесной служить часто невмоготу, так отца Петра к нам на погибель приставили, от отцов живцов!

— Плохой, говоришь?

— И-и-их, братишка, и не спрашивай!

Трифон понизил голос:

— Древляго чину не соблюдает. Новые порядки вводит. Перед Причастием еду принимает, и в карты играет. Все это, братишка, полбеды, и старые-то батюшки, нечего греха таить, любили выпить и в картишки перекинуться, но где это видано, чтобы священник в Бога не верил?

— Откуда ты знаешь, что он не верует?

— Да у нас такой слух, что он рясу-то для видимости одел, чтобы, значит, с амвона новую жизнь славить. Службы Господней не пройдёт, чтобы он в проповедях её не восхвалял. И даже…

От волнения у Трифона пересекся голос.

— Даже во Христа как в Сына Божия не верует! Недавно в проповеди сказал, что Господь-то наш Иисус Христос обнаковенный человек на манер Ленина… Ей-Богу! Собственными ушами слышал!

Показалось маленькое, чёрное от осенней хмури село Святые Ручьи. По песчаному взгорью разбросались бревенчатые избы. На крыльце деревенской лавчонки сидел чумазый мальчишка в линялой голубой рубашке и отцовских валенках. Надув бледные щёки, мальчишка дудел в пастушескую жалейку. В окно лавки смотрела вязанка баранок, банка из-под деревянного масла и несколько глиняных чашек. Пахло ржаным хлебом, кожей и дымом. На горе, в кругу старых дуплистых лип, стояла белая церковь без креста на куполе.

— Церковь-то, — заметил Трифон, — в народный дом превращена. Каждую субботу в ней гармонь да плясы.

Навстречу шёл лохматый старик в валенках и распахнутом тулупе. На его груди висел большой медный крест. Он шёл по дороге, крестообразно сложив руки, и блаженно улыбался.

— Это Митя блаженный, дитя Божье…

Трифон остановил лошадь и подозвал старика.

— Прими хлебца ради Христа!

Митя молча подошёл к телеге и бережно, как просфору, принял ломоть хлеба и поцеловал его.

— Богатым человеком был, — вздохнул Трифон, кивая в сторону удаляющегося Мити, — но ограбили и дом его сожгли. А над дочерью Машенькой люто надругались… Видите, колодец около мельницы? В этом самом колодце Машенька утопилась… С той поры отец её ума лишился.

Деревня осталась позади. Дорога пошла лесом. У края придорожной канавы, на вязанке хвороста сидел в рваной ряске и опорках седой человек и дул на похолодевшие красные пальцы.

— А это батюшка отец Сергий. Священник той церкви, что в народный дом превратили. Теперь занимается он сапожным ремеслом… А недавно отец Петр сказал у нас такую проповедь, что мы его чуть не поколотили, — вернулся Трифон к прежнему разговору.

— О чем же он вам говорил?

— Я вам по порядку расскажу. У нас, видишь ли, в приходе две церкви. Одна старая, зимняя, другая — летняя. Понадобился нашим парням клуб. Об этом проведал отец Петр. Приходит к ним на собрание и говорит: «Вам, ребята, клуб нужен? Так берите, — говорит, — церковь, и никаких».

Ребята, конечно, его качать. Хорошо-с. После этого факту выходит отец Петр в воскресенье на амвон и говорит: «Так, мол, и так, братие и сестры, новая теперича жизнь и новые люди, вы, старички, должны посторониться и уступить место молодняку. У нас, — говорит, — две церкви, одна из них пустая. Отдадим, братия и сестры, эту церковь молодняку. Пущай он там культурный очаг зажигает. Иконы в случае чего и вынести можно».

Около амвона стоял дедушка Парфён. Дородный, да крепкий такой, как дуб. Стукнет это он палкой о пол да как гаркнет на всю церковь: «Ты что это, поп, рехнулся, что ли?»

Поп на Парфения: «Не имеешь, — говорит, — права осуждать своего пастыря!»

Парфен на своем: «Имею, — говорит, — полное право. Ежели поп святой храм отдаёт на попрание псам, то я имею право не только осудить, но даже десницей заушить его, яко Николай Мирликийский еретика Ария!»

Что только не поднялось в церкви после этих слов! Шум, топот, гомон и даже прости, Господи, наши согрешения, ругань! Сын мой, бывший унтер-офицер, схватил подсвечник да подсвечником хотел Петра-то гвизданути! Дьякон Александр от греха отвёл. Гневом Божьим нам пригрозил. Еле очухались от помрачения злобы, но церкви не отдали! И что за времена лютые наступили, Господи! Неужто нам, старикам, отходную пора читать?

К вечеру телега загромыхала по горбатой булыжной мостовой родного Тригорину города. Те же сонные, покосившиеся заборы с остроконечными ржавыми гвоздями, базарная площадь с каланчой, собор с потемневшими куполами. Запах пыли, смолы и дыма. Среди мостовой лежало пьяное тело. В чайной играл граммофон. Мёртвыми, заколоченными окнами глядели бойкие когда-то торговые ряды. Вечерний ветер гнал по мостовой стаю жухлых листьев и раскачивал чёрный тяжёлый крендель над входом в булочную.

Тригорину почему-то вспомнилось, как лет двадцать тому назад этот крендель упал на голову купца Толоконникова. Когда поднимался, бывало, разговор о купце Толоконникове, то обязательно прибавляли: «Тот самый, которого чуть кренделем не убило!»

Лошадь остановилась около низенького от старости, покрытого плесенью домика отца Андрея. В окнах — покой, лампадное мерцание и сумеречная печаль, какая бывает только в старых, уснувших домах…

Отец Андрей совсем не узнавал Тригорина, пристально рассматривал его угасающими глазами и, когда узнал, долго не выпускал его из своих объятий, и заплакал от радости.

За эти годы много было пережито, о многом хотелось рассказать друг другу, но они долго сидели молча и не знали, с чего начать.

— Петюшка, — засуетился внезапно отец Андрей, — ставь самовар-то, пострелёнок, — крикнул он мальчугану лет десяти в белой рубашонке.

— Внук мой! Родители-то от тифа померли. Лицом-то он весь в мать. Помнишь Настю-то? — спросил отец Андрей и заплакал.

На стене висел портрет Насти в платье воспитанницы епархиального училища.

Тригорину вспомнилось, как он когда-то нарвал росистой сирени, подкрался ночью к дому и бросил букет в открытое окно её спаленки. Вспомнилось, как в берёзовый Троицын день, во время коленопреклонённой молитвы в церкви, у Насти выпал из кармана беленький платочек, как он поднял его, а потом, выйдя из церкви, спрятался на кладбище, стал целовать его, и от чего-то хотелось плакать.

— Все ушли в страну далече… в невечерние поля Господни, — шептал отец Андрей, опираясь на посох, — Настя ушла… Матушка недавно преставилась. Нет и Володеньки, сына моего… А когда-то так шумно и весело было в нашем доме… Все проходит, яко сон, яко крин благоухающий, яко роса усыхающая. Помнишь любимую песню Володи:

Время пролетело, слава прожита,
Вече онемело, сила отнята…

За старым самоваром, когда-то отражавшим в себе лица и Насти, и хлопотуньи матушки, и студента Володи в уюте священнической горницы, под тихие озарения синей лампады перед образом «Господа Славы» много горького поведал Тригорину отец Андрей:

— Старый наш дьякон ларёк где-то открыл. Квасом да бубликами торгует. Отец Спиридон снял сан и служит конторщиком на бумажной фабрике. Покровская церковь, что на Сиреневой улице, в чайную превращена, а монастырь Скорбящей Богоматери — в казармы. Наш новый настоятель, отец Петр, завтра серебро с икон снимать будет и отдаст его на нужды государства.

Рассказывал отец Андрей без вздохов, без укоризны и только временами прикладывал руку к сердцу.

За окнами шумел ветер и гудели деревья.

Песня

Сегодня соборовали Егора Веткина. Свеча жёлтого воска в его угасающей руке, мертвеющая прядь волос на влажном лбу и то, что он во всём белом лежал под иконами, заставляло думать о невечерних полях Господних.

После сурового, похожего на отпевание, обряда он посмотрел на меня отяжелевшими от предсмертной тяготы глазами и сказал:

— Книги… тебе завещаю. Не держи их только в сыром и тёмном месте… они, книги-то… как люди — уход и тепло любят… — Неподалёку от икон, на полке, занавешенной холстиной, стояли книги.

— Покажи мне их! — шепнул он через силу. Когда я откинул занавеску и при свете керосиновой лампы заблистали книги, бережно укутанные Егором в золотистую бумагу, он проговорил:

— Помяни вас, Господь, за беседу с вами… за правду вашу!

Предсмертно посмотрел на меня и на жену свою Ольгу Ниловну.

Было ясно, что Егор не увидит больше утра. Чтобы проводить его в дальнюю ночную дорогу, я остался ночевать с ним. Ольга Ниловна погасила последние слёзы, выпрямилась, стала сухой и озабоченной. Посмотрев на мужа тем особенным прозорливым крестьянским взглядом, каким смотрят на обречённого, она молча подошла к большому дедовскому сундуку и подняла крышку…

Егор лежал неподвижно и почти бездыханно. Синий свет лампады падал на его изголовье. В этом мерцании, обычно ласковом и тихом, было теперь сокрушённо и маетно.

Ольга Ниловна вынула из сундука что- то длинное и страшное в своей нетронутой полотняной белизне. Она разложила страшную одежду по столу и в застывшей задумчивости стала гладить её рукой.

За окнами поднимался буревой ветер. Прислушиваясь к нему, я подумал, что он похож на старинную еврейскую песню.

Вот лежит Егор под иконами, думалось мне, и кто-то незримый порывает сейчас тонкие ниточки, связывающие его с землёй, и что чувствует в этот момент душа его: радость освобождения или горечь расставания?

Мастер по лужению медной посуды, Егор Веткин безвыездно прожил в нашем городе без малого лет пятьдесят. Лет десять тому назад выучил я Егора азбуке. Никогда не забыть, когда удалось ему из букв составить слова и уразуметь священный смысл их. Помню, прибежал ко мне поздно вечером, без шапки, в опорках на босую ногу и весь сияющий от слез.

— Грамоту постиг! — крикнул он на пороге и бросился обнимать меня: — Господи! Зачем так долго водил меня по пустыне, как Израиля, и с младенчества не показал мне землю Обетованную?

Повернулся к иконе и стал осенять себя частыми крестами.

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе, что постиг я теперь слова Твоего евангелиста: «В начале

было Слово, и Слово было у Бога, и Бог есть Слово».

Горько на душе Егора, если она ещё не покинула его. Оттого эта горечь, что не удалось ему, как он говорил, «спеть на земле хорошую песню».

Сидели мы как-то с ним в его мастерской. Паял он медный рукомойник. Мастерская — сырой, сводчатый подвал — была обвита осенними сумерками, и за окнами тяжело звучал дождь. Жаркое пылание жаровни, на которой топилось олово, напоминало костёр среди ночного поля. Егор сказал тогда:

— Жалко, что я образования не имею… а то… — Недоговорил и задумался.

— Что? — спросил я его.

— Хочется мне написать книгу! — ответил горячим дыханием. — Хорошую, светлую и на весь мир!… Написал бы её в виде песни, как у господина Александра Сергеевича Пушкина. Она… Эта книга-то… большую пользу принесла бы людям!

Он положил руку мне на плечо. Пальцы его были обожжены кислотами и замучены работой.

— Ты не думай, — убеждал меня чуть не со слезами, — что это для славы и похвалы… Нет! Я это — для всеобщего на земле блага! Понимаешь, поёт что-то в душе моей, а что поёт — не могу изъяснить складными словами! Образования не имею, вот в чем крестная мука-то!

— А что бы ты передал в этой песне?

— Я изложил бы в ней всё, — засветился он, — и как живут люди, и как мучаются они, и как жаждут все Христова утешения, и что на земле у нас неладно, и все мы, одним словом, — нехорошо живём!

Хотелось сказать Егору, что об этом уже много написано книг и никого не удивит он песней своею, но смолчал, а он говорил с увлечением и болью:

— Ах, как бы заплакали люди, услышав мою правду!

На Егора часто нападала тоска, та особенная русская тоска, которая заставляла его метаться между церковью и кабаком.

В таких случаях Егор напивался и каждому встречному говорил:

— Песня у меня на душе! Если выпустить её на свободу, то у людей вырастут крылья!

Помогите мне выпустить песню на свободу!

Оскудение

Лесное безмолвие и снежный покой.

С матёрых сосен падает снег. По синим сугробам ступает вечер. Глубина леса гудит, как дальнее море. Между соснами жёлтый огонёк лесной избушки. По неслышной заметённой дороге трусит к монастырю Преблагой Царицы старая костлявая лошадь. Правит ею горбатая, в заплатанном тулупе и в чёрном платке монахиня Макария.

Дорога до монастыря дальняя, и, чтобы скоротать время, Макария поет монастырские стихи и занимает меня разговорами:

— В давние это было времена, — говорит она с придыханием, — при царе Алексии Тишайшем… Кроме леса, озёр да неба, ничего не было на месте нашего монастыря. И вот приключилось дивное чудо!. Пасёт пастушок-отрок стадо и зрит: на Святой горе, где теперь обитель наша воздвижена, стоит Некая Жена, вся молниями осиянная и в солнце приукрашенная… Стоит Светоносная и благословляет Святую нашу гору… Вострепетал отрок. Людей кликнул. Поднялись на гору, и на том месте, где стояла молниями Осиянная, обрели образ Преблагой Царицы. На месте явления Пречистыя Богомати монастырь построили красоты несказанной, и много скорбных, больных, Христова утешения чающих стали притекать к образу и получать от него неоскудные и богатые милости.

Макария послушала шум сосен и вздохнула:

— А теперь оскудение… Тускнеют златые главы собора и рушатся монастырские стены… Недавно, во время полунощницы, упал с колокольни самый дорогой, подарок царский — серебряный колокол… Не к добру…

Лицо монахини принимает робкое выражение, и она зашептала молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных».

Опять повернула ко мне лицо своё.

— А одна из наших веру потеряла. Сестра Мария. Слюбилась с парнем и ушла из обители. Как пришла нужда, то много сестер променяли рясу черную на мирское одеяние и оставили обитель. А другая из наших сестер, монахиня Олимпиада, в затвор ушла и обет молчальничества на себя наложила… Горе с ней недавно приключилось!.. — пригорюнилась она. — Подвига ли великого жаждала душа её или в разуме помутилась Олимпиадушка, но только недавно выбежала она из келии на мороз, босая, и закричала: «Пойдёмте, сёстры мои, в Кремль, душу за Христа отдать! Венцы мученические принять!..»

В соснах засвистел ветер. В лесной чащобе трепыхала крыльями одинокая птица. Из леса выехали в поле. Кружились снежные вьюнки, и звенела поземка. Надвигалась вьюга. Чувствуя дыхание ее, старый конь побежал бойчее.

У дороги, под крылатой сосной, деревянный осьмиконечный крест, обвитый вьюжным дымом.

— Вот и Пригвождённая Богоматерь, — указывает Макария на крест, — скоро и монастырь!

Спрашиваю монахиню:

— Почему крест называется Пригвождённой Богоматерью?

Макария останавливает лошадь и предлагает подойти к нему поближе. На кресте, под навесом, икона суздальской Божьей Матери — заступницы ржаных полей. Я вгляделся в образ. Чья-то кощунственная рука вбила в глаза Богоматери гвозди!

Монахиня крестилась и строго шептала:

— Спаси и помилуй его… помрачённого, озлобленного, Тебя пригвоздившего!..

Придорожный крест, обвитый вьюгой, завечеревшее поле, старый поникший конь и горбатая

монахиня, творящая молитву за тёмную душу дорожного бродяги, навевали думы о Ней… России монашеской, в молитве сгорающей, и России разбойной, вбивающей гвозди в глаза Пресвятой Девы.

Долго ехали молча.

Поднялись на пригорок и увидели кресты Преблагой Царицы.

Застуженный конь обрадованно тряхнул гривой и бойко побежал к монастырским стенам.

— Рядом с монастырём деревня, — говорила монахиня, — и народ в ней, особливо молодёжь, ужасно озорной. Много от них скорбей всяких. Летом яблоки в саду воруют, игуменье стекла в окнах выбивают, в церкви бражничают… Есть у нас святой источник… Вода в нём целебная… Так не поверите ли… озорники-то в святую воду… Господи! На церковных стенах грязные слова пишут и камнями целятся в кресты собора. Страшно, родной, жить стало!

И вдруг бодрым, звенящим голосом она воскликнула, светло улыбаясь:

— Недавно у нас свершилось великое чудо! В старой часовне обновился образ Господа Вседержителя! Был совсем как уголь, а теперь озарился неизреченным светом!

Мы подъехали к монастырю.

Поздно ночью я вышел на улицу.

Кружилась позёмка, и белый вьюжный дым проносился над монастырскими стенами. В окнах келий погасли огни, только кой-где лампадные искорки.

До меня донеслась вдруг колеблемая вьюгой чья-то озябшая молитва к Преблагой Царице:

— Зриши мою беду… зриши мою скорбь…

Я подошёл ближе.

У монастырских врат стояла в тулупе вратарница и по древнему обычаю охраняла опочивший монастырь.

А вокруг тишина, вьюжный дым и неведомый зернистый шелест.

Не то шуршала стеклянная позёмка, не то осыпались монастырские стены.

1928

Приложение. Литературные оценки произведений В. Никифорова-Волгина

Певец Бога и земли

В. А. Никифоров-Волгин наделён чрезвычайно своеобразным талантом. В сложный, — только с виду простой, — состав его творчества входит доверчивость и горестные сожаления, глубокая влюбленность в русский язык, в обороты русской речи, сияние религиозных мерцаний и большое знание русской жизни, русской стихии, раскрытость души и тихая притаённость, смелость образов и насыщенная скромность литературной речи, точность и в то же время

яркость образов, отличный слух, схватывающий звуки, и острый, примечающий глаз художника, наконец, вера в устойчивость преданий, не смущающаяся их поруганием, помрачением и затмением. Это и есть вера, то есть по слову катехизиса, уверенность в желаемом и ожидаемом.

Над головой Никифорова-Волгина просияла счастливая звезда. Среди писателей он давно примечен: за эти годы на разных конкурсах в Париже, Таллине он неизменно получал премии. Два года тому назад вышла его книга «Земля Именинница», и сразу выдвинула Никифорова-Волгина в передний край беллетристов, вызвала единодушные отклики печати, блестящие оценки критиков (а не частные письма, всегда поневоле благожелательные). Эта книга и разошлась как-то молниеносно, — судьба бывает справедлива, — «Земля Именинница» получила большой и заслуженный успех.

Вслед за нею, недавно, появилась вторая книга этого беллетриста «Дорожный Посох», — знаменательное название: «сильна власть русских дорог! Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь и ничто мирское тебя не радует, душа возношения какого-то ищет… Не от созерцания ли дорог родилась в русском человеке тяга уйти? Всё равно куда. В Брынские ли разбойничьи леса или навстречу синим монастырским куполам… только бы идти, постукивая дорожным посохом».

Странничество и — раздумья, скитанья и вздохи. На бескрайних, молчаливых русских дорогах ранним утром и сумеречными вечерами свершаются незримые чудеса. С дорожным посохом, с котомкой за плечами проходят богомольные люди, погружённые в святое созерцание и беспокойные, печальные думы. Их прекрасно улавливает, тонко слышит, глубоко чувствует В. Никифоров-Волгин, очень русский писатель, отдавший своё сердце, преклонивший свой слух земле. Он её знает, постигает её тайны, живёт с ней одной жизнью, радуется её вёснам и травам, её звону, её улыбкам, хранит в памяти народные приметы, восхищённые, трепетные моления, болеет душой за несчастных, грешащих вольно и невольно, за всю человеческую рать, соблазнённую звериной бездной, духовным распутством, неистовствами разгула, грубости и адовых кощунственных гримас.

Литературный отшельник, ни на кого не похожий и никому не подражающий, Никифоров-Волгин находит свои духовные удовлетворения в слиянии с глубоко затаёнными настроениями русского народа. Его голос тих, в то же время внушителен. Кажется, будто у него весь ящик стола, чуть ли не целый шкаф наполнен записями, подслушанными речениями, и «чудится, что все мы на росстани-пути стоим», что «над природой человек озоровать стал», что и «литургийный хлеб стал теперь ржаным, — почернело Тело Христово», будто наступила мировая ночь, а «никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре, среди поля». Отлично и близко знакомы этому писателю упования, быт, верования народа: «в деревне масленичный понедельник назывался — встреча; вторник — заигрыши; среда — лакомка; четверг — перелом; пятница — тёщины вечёрки» и т. д. Хорошо в народе называют масленицу: Боярыня, Царица, Осударыня, Матушка, Гулёная, Красавая, — прозвища дорогие сердцу Никифорова-Волгина.

Превосходны его эпитеты: у солдат красноармейцев «неумолимые руки», у электрической лампочки «душный свет», седые волосы священника напоминали «горький ветхозаветный пепел». Центральной частью последней книги Никифорова-Волгина «Дорожный Посох» стоит скорбная повесть о странствовании и муках священника: его моления, чёрные зрелища надругательства над церковью, иконами и службой. Потрясает рассказ рыжего детины о том, как бывший семинарист кощунственно решил причастить народ самогоном. Временами казалось: русский народ раскрестился. Но не надо отчаиваться, — были и есть знамения и благодатные примеры: по лесным чащам, в подземельях, тайных монастырях и церквах,

запрятанных по лесным чащобам, встречаются молельщики, ищущие правды: «Мы, батюшка, в Москву идём... О Боге хлопотать... чтобы это Бога нам разрешили...» Свершаются «светоподательные подвиги»: Господь струями иорданскими поможет омыть потемневшее лицо земли, и всплеснётся вода подо льдом.

Кроме большой повести так и называющейся «Дорожный Посох», в этой книге чудесные воспоминания детства: Крещение, кануны Великого Поста, Великая Суббота, Радуница, Отдание Пасхи и превосходный рассказ «Яблоки». Книгу Никифорова-Волгина надо читать не раз, её следует, — во всяком случае, — прочесть дважды — так много в ней словесных чудес, искренних признаний, метких наблюдений и ещё знания, неведомого большим городам, утрачиваемого с каждым днём всеми: это надо воскресить, к этой сокровищнице следует приникнуть ласковым и сторожким ухом.

В речениях, народных приметах, религиозном подъёме, звучащем в произведениях Никифорова-Волгина, таится великая сила преданий, образов прошлого, голосов истории. С былым, ушедшим, далёким Никифоров-Волгин связан крепкой, неразрывной пуповиной.

Сергей Нарышкин

Журнал «Для Вас». [Рига]. 1939. N 14. С. 14.

В. Никифоров-Волгин. Земля Именинница

Когда истомлённый бестолковой городской сутолокой случайно попадаешь в деревню, тебя охватывает совершенно непередаваемое чувство тишины и светлой грусти. Не той, создаваемой пробковыми перегородками, закрытыми дверьми и окнами надуманной, технической тишины, а внутренней глубокой примирённости. Когда не надо торопиться, смотреть каждую минуту на часы, бояться куда-то опоздать, не успеть чего-то сделать. И грусти, — не больной, не острой о чём-нибудь определённом. А вообще: ни о чём и обо всём.

Такое приблизительно чувство охватывает вас при чтении книги В. Никифорова-Волгина «Земля Именинница».

Маленькие рассказы-отрывки. Тихие, благостные, о старых, уже мало где и редко соблюдающихся обычаях, нехитрой неспешащей жизни, маленьких горестях и радостях простых людей. И надо всем — скупое и ласковое русское небо, свет вечерний — мягкий, прощающий и тихий.

Чудесен язык книги. И не случайно в одном из первых рассказов мы читаем о том, как мать мальчика, от лица которого идёт повествование, говорит: «Не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего: форсить! Деревенского языка не бойся, — он тоже от Господа идёт».

И Никифоров-Волгин не боится этого деревенского языка. Он его бережёт и лелеет. Но — не скупой хозяин — он щедро раздаёт его всем, кто может оценить и понять всю красоту и звучность этого языка и потому по всей книге как драгоценные камни разбросаны чудесные, полновесные, звонкие русские слова. Это не нарочно выхваченные из словаря Даля выражения, а подлинный народный говор, с которым автор вырос, сжился. И чувствуется, что он не может иначе говорить и думать.

Прекрасное заглавие у книги — «Земля Именинница». И в заглавном рассказе мать объясняет мальчику, как по народному поверью земля празднует свои именины.

«Накануне праздника мать сказала:

— Завтра земля именинница.

— А почему именинница?

— А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдётся со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота — земля именинница: по всей Руси мужики не пашут».

Какой простой и замечательный образ: земля именинница! Троица, зазеленевшие берёзки, торжественная служба в деревенских церквах и чистая неомрачённая радость мальчика, вдыхающего полной грудью благоухание распустившейся весенней природы.

Только русский народ мог создавать такие необычайные по своей простой и радостной красоте поэтические образы. Возьмите, например, все наши названия Богородичных праздников. Иконы Божией Матери «Утоли моя печали», «Всех скорбящих Радость» или «Благоуханный цвет»! Это не только вера, не только религия, каноны и уставы. Это и душа народа, песенность, величайшая поэзия.

Большевики отняли у народа эту поэзию. А что они могли дать взамен? «Полфунта хлеба, четверть фунта мыла и полбутылку керосина — на едока».

* * *

Но не всё в этой книге радостно, чисто и не омрачено, как в первых нескольких рассказах. И дальше мы видим отражения революционной бури, смятение умов, потрясение тихого уклада, разрушение старой, устоявшейся, благолепной, неторопливой жизни.

В рассказе «Архиерей» очень хорошо рассказано обо всём этом.

«Святые врата ограды распахнуты настежь… Вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братия. Кто в мир, а кто и мученическую смерть приял…».

И епископ Палладий, оставшийся в монастыре вместе с семидесятилетним келейником Илларием, «сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от Святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов Его…»

И так ярко рисуются эти страшные смятённые дни, когда мы читаем в рассказе беседу архиерея с келейником.

«— Ну что, Илларий, как живут в миру-то?

— Мятётся мир, владыко святый… Волнуется море житейское, воздвизаемое зря».

И архиерей с тихой скорбью узнаёт о том, как изменилась его паства и священники. Отец Никодим — стал живоцерковником. Дьякон Иорданов сан снял, в совнархоз определился и женился на татарке.

«—Про отца Григория Никольского ничего не слышали?

— Так неужели, Илларий, и он переменился? А какая светозарная душа была у него!

— Отец Григорий мученическую смерть приял… Пришли к нему во время Литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: „Мы тебя причащаем “».

Но и в этих скорбных рассказах нет злобы и осуждения.

Хорошая, искренняя, простая, талантливая книга.

Блок когда-то написал:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краёв дороже мне.

И в этих словах такая непоколебимая вера в страну, в народ, в его судьбы, что не требуется никаких пояснений.

Чувствуется это и в книге Никифорова-Волгина.

Нельзя поверить в то, что всё было напрасно. Пусть умер в одиночестве епископ Палладий, пусть пригвоздили к монастырской часовенке икону Божией Матери… Пусть ходит по деревням о. Василий Нильский с Чашей, антиминсом и священными книгами в котомке. Раз всё это есть, значит, так и должно быть. И да будет так.

Но будет когда-нибудь и наша Земля Именинница.

Александр Перфильев

Журнал «Для Вас» [Рига]. 1937. № 30. С. 29.

Из письма Александра Амфитеатрова Вячеславу Иванову (10. XI-1937)

Я в последнее время перечитал много провинциальной беллетристики, харбинской, варшавской, ревельской и т. д. В общем ерунда несказанная, а иные перлы — даже и не разобрать, всерьёз они написаны или на смех. Однако, если попадётся Вам на глаза «Земля Именинница» некоего В. Никифорова-Волгина (вышла в Таллине, т. е. в Ревеле), рекомендую обратить на неё внимание: весьма замечательная книжка рассказов — оригинально, просто, коротко, свежо. Я написал о них статью, но «Возрождение» не торопится печатать. Должно быть, ревнуют новичка к своим давним беллетристам, Рощину, Лукашу и Коровину.

Минувшее. Исторический альманах.

Вып. 22. СПб., 1997. С. 609.

Тоска по Богу

Берусь за перо под сильным впечатлением небольшой книжки, вышедшей в Таллине (Ревеле) под заглавием «Земля Именинница». Автор её В. Никифоров-Волгин мне совершенно неведом. Не припомню, чтобы имя его встречалось мне в периодической печати. Начинающий? Может быть. Но в таком случае — с раннею зрелостью большого таланта, лишь изредка обнаруживающего неопытность стилистическими излишествами или бледностями. Судя по завершённости мысли, по твёрдому рисунку продуманно выношенных и определённо выраженных образов, этот новый писатель едва ли очень молодой человек, а скорее уже зрелый наблюдатель жизни, поздно взявшийся за перо, чтобы излить душу — тяжело накопившиеся «сердца горестные заметы».

Но это — в сторону. Я не литературную критику собираюсь писать. Какой г. В. Никифоров-Волгин литератор и художник — разберут и скажут другие, более меня привычные и

компетентные судьи. Важен моральный центр тяжести этой книги кратких зарисовок современной подсоветской, деревенской и мелкогородской действительности, освещающих её со стороны, мало затронутой в противобольшевицкой литературе. Наши обличения устремляются преимущественно на материальные ущербы и лишения, терпимые населением СССР под властью большевиков, восстановивших в государстве значительно ухудшенное крепостное право. Само собою разумеется, что и духовный разгром Православной России не оставляется обличителями без внимания. Напротив. Ужасы гонений на Церковь, на семью описываются во множестве и так страшно, что, читая, в отчаяние приходит верующая душа, твердя безнадёжное Аввакумово слово: «Отдал Бог светлую Россию сатане, да омыется кровию праведных». Или ещё более безнадёжное, новое, изречённое в Соловках заточённым митрополитом Петром Крутицким: «Был русский народ Богоносцем, а стал богопоносцем».

Непроглядный мрак духовный. Воистину, та кромешная тьма, где единые звуки — плач и скрежет зубовный грешников, мучимых червем, неутомимо грызущим.

В. Никифоров-Волгин материальных бед русского народа касается сравнительно мало. (Есть в книжке потрясающе сильный, в четырёхстраничной краткости своей рассказ «Голод».) Беды телесные в «Земле Именинице» как бы фон, сам собою подразумеваемый, не требуя жестокой разрисовки. Весь интерес писателя обращён на духовную нужду народа, ограбленного в вере своей, и, в частности, особенно подчеркнуто, на переживания антихристова пришествия верно устоявшею во Христе частью православного мира и его духовенства. Рассказы Никифорова-Волгина похожи на «духовные стихи» слепых старцев: рапсодии о людях, как будто маленьких, но своею могучею верою подъемлемых над смятённым и отчаянным человечеством выше всех великих и сильных.

Мрачных и отвратительных эпизодов в зарисовках Никифорова-Волгина не меньше, чем в самых острых и жгучих обличительных хрониках развращения безбожием «светлой России, отданной сатане». Но странное дело. Конечно, и в передаче этого писателя — всегда очень сжатой, скупой на слова, без «размазывания», — все эти ужасы и мерзости вызывают в читателе негодование, отвращение, гнев, жажду борьбы с диким разгулом насильствующего произвола. Но не последуются они тем унынием до отчаяния, которое обычно приносят читателю мартирологи современной религиозности. Ибо сквозь великую грусть, внедряемую в душу трогательною книгою, таинственно светит некий тёплый, кромешной тьмы не рассеивающий, но издалека её путеводно пронизывающий, упованием бодрящий луч. Эта книга — шмелёвского настроения, но Шмелёва не апокалиптически страшного «Солнца мёртвых», а Шмелёва позднейшего, задумавшегося о «Путях Небесных».

Что может быть угрюмее судьбы «Архиерея» (значительнейший рассказ книги), одиноко умирающего в опустелом, обращённом в «мерзость запустения» монастыре, сохраняя единственную связь с миром в лице семидесятилетнего келейника, пессимиста, который как ворон каркает владыке изо дня в день новости трагические и позорные. «Отец Григорий мученическую смерть приял… Пришли к нему во время Литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: „Мы тебя причащаем“. Протодиакон Иорданов в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поёт».

Отец Павел Скорбященский, «некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички», теперь является к архиерею стриженым, в смокинге, и развязно предлагает «сделку»:

« — Я к вам по важному делу, владыка… Церковь мою постигло некое попущение! На днях,

волею законных властей, у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют…

— Гуляют, говорите? — с горькой улыбкой спросил владыка. — Что же дальше, отец Павел?

— А дальше, владыка, вот что: сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришёл к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви? Вы, властию вам данной, можете и без них обойтись!

— Каким это образом? Я часто служу Литургию.

— Пустое дело, владыко. Правила апостольские и канонические теперь устарели и необходимо считаться с временем!.. Вы епископ? Да. Обладаете благодатью Святого Духа? Обладаете. Так что же вам стоит сей стакан превратить в Чашу Господню, а сие блюдечко в дискос? Очень просто! А главное, этой перемены никто у вас не увидит. А у меня, владыка, народ… со стаканом-то мне выходить на амвон зело непристойно!»

И даже не понял перекрасившийся священнослужитель, за что «старомодный» епископ отказал ему в благословении и указал на дверь.

Трагический объезд епархии — на простых крестьянских санях, одетым в баранью шубу, тёплую шапку с наушниками и валенки. Молебен в амбаре: церковь отобрали под «народный дом». За недостатком места богомольцы «стояли под открытым небом и все навзрыд плакали». В другом селе пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах, и почти все стояли на снегу на коленях и горько выкрикивали слова молитв: «Господи, спаси! Господи, помилуй!»

«Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов.

Пронёсся испуганный шёпот:

— Расстреливают…»

В третье село епископ уже не поехал: «На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив».

— Да, — скажет читатель, — действительно, тьма кромешная, плач и скрежет зубовный. Но вы говорите о «луче»? Где же он, где вы видите этот утешительный луч спасительного упования?

— А вот, погодите.

«По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкою за плечами… оказавшегося священником Василием Нильским.

— Откуда и куда, батюшка? — спросил Палладий, благословляя отца Василия.

— Скитаюсь, владыка. Из села Орехова меня выгнали. Церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом попутчиком, да с алтарём Его за спиною…

— Как так с алтарём?

— В котомке у меня антиминс, Чаша деревянная, епитрахиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну

совершать Святые Христовы Тайны».

«Много тяжелых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам. Много слёз, горя и ужасов впитала душа его… И замутнился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась бы в раздумье над огоньками свечей в тёмных амбарах и сараях, превращённых в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу, на коленях, и в особенности на том священнике с алтарём за плечами, шагавшем по крестьянским дорогам… с деревянной Чашей Христовой…»

Что могут встретить эти попики-странники «с алтарём Христовым за плечами» на своём страдном пути в недра толщи народной? Всего хватит: и насмешек, и поругания, и биты будут, и в тюрьмы ввержены, а возможно, удостоятся и мученическую кончину приять. Но зато и ждёт их великая мзда, не только посмертная, на небесах, но и попутно здесь на земле: встречать русских людей, покаянно пробуждающихся от бесовского кошмара. Видеть, узнавать, чувствовать, как в усталости от напускного безбожия, со всеми истекающими из него искажениями нравов, просыпается и множится в русском народе **тоска по Богу.**

Книга озаглавлена «Землёю Именинницею», по одному из прелестных рассказов о переживаниях автором в детстве церковно-праздничных дней (серия, однородная с «Праздниками» И. С. Шмелёва). Но истинно определяющим содержание книги заглавием было бы, по-моему, именно вот это: **«Тоска по Богу».**

Много истосковавшихся по Богу новых людей показывает нам г. Никифоров-Волгин, и жуткие это, трагические люди. За каждым в недавнем прошлом остались чудовищные дела кощунства, святотатства, человекоубийства, насилия и надругательства над ближними. Каждый словно вопль из покаянного канона.

«Руце всякими осквернила еси злодеяниями, душе моя: и како тех воздеваеши на высоту беседующе Богу? нозе непотребны сотворила еси, на дела ходящи студная»…

И вдруг, в привычку равнодушного и даже весёлого греха, преступлений, злодеяний — гром, тот спасительный гром «русского Бога», который в старину сделал великого грешника Власа покаянным сборщиком на построение храма Божьего и лютого атамана-разбойника Кудеяра похоронил подвижником-схимником у стен Преображенского собора в студёной Соловецкой обители.

Теперь Власы и Кудеяры перестали быть единицами в народе. Их даже не десятки, не сотни, а многие тысячи. Коммунистический антихрист заманивает их в своё воинство неограниченным кредитом на все плотские соблазны и похоти: Бога нет, души нет, всё дозволено! В страшных и отвратительных делах признаются они, Власы и Кудеяры современности. Но не хочет Бог погибели грешников. Для каждого из них готовит мгновение спасительного грома, который внезапно парализует лукавого беса, допущенного ими хозяйствовать в их душах, и, возвращая человека к волевому самочувствию, самосознанию и самоотчету, даёт ему «плач благ и покаяния вины, и разум спасения».

Чудно и страшно действие этого грома, а бьёт он, подкравшись тихо, невзначай: поражённый им грешник и сам не сразу понимает, что такое с ним вдруг сделалось.

«— Хотите расскажу, как я мощи преподобного из гробницы выбросил? — со смехом спросил Фёдор («Юродивый»).

— Зачем же ты смеёшься? — угрюмо заметили ему.

— Это я так. Я, братишки, не смеюсь. Смех этот, братишки, у меня вроде болезни. Итак, слушайте… После этого дела пошли мы в трактир… Сколько я пил в трактире — не помню. Чем больше пью, тем на душе страшнее…»

Чудится Фёдору выкинутый из раки угодник. И — смерть в опустошённой душе, а на лице и в голосе — проклятие непроизвольное — смех, от которого содрогаются слушатели, полупьяные мужики:

«— Да не смейся же ты… нехорошо ты смеёшься!

— Да не смеюсь я, — с отчаянием отрицает Фёдор, — говорю же вам: вроде болезни это у меня…

— Волк ты! — угрюмо грозит ему один из мужиков.

— Это правда, что я волк, — соглашается Фёдор. — Только сердце моё жалостное».

И признаётся казнимый непроизвольным бесовским смехом неврастеник, что он не в состоянии без слёз слушать панихиду… А мощи выбрасывал из гробниц!

«Зачем ты это сделал? — строго спрашивает верующая старуха, — матушка, что ли, тебя не благословила или твой Ангел Хранитель от тебя отступил?»

Затем, что есть в человеке пропасть, бездонности которой он в удалом дерзновении сам не понимает, покуда не закачается на самом краю её, в неопровержимо чувствуемой опасности, что ещё один дерзновенный шаг — и ухнул ты вниз непоправимо и безвозвратно. Вот это-то последнее преступление, способности на которое сам преступник в себе испугался, и сверкает ему в глаза тою «просветительною молнией» среди «тьмы несветимыя», что прекращает в человеке охоту быть «бесам обрадование» и озаряет ужасное отдаление его от утраченного и забытого Бога.

Герои г. Никифорова-Волгина — это именно люди, которых мать «не благословила или Ангел Хранитель от них отступился». И — «погрузи их в глубине прегрешений, иже праведных враг», «прельсти внушением греховным враг-льстец, и от Тебя, Блаже, далече удали»… Сами мы эмигранты и беженцы и всякого рода эмигрантов и беженцев знаем весьма разнообразно. Но г. Никифоров-Волгин добавил в эту пестроту ещё один тип: красноармейца-покаянца, который тайно, с риском для жизни, перебирается через эстонскую границу с единственною целью — исповедаться в своих тяжких грехах в Печёрском монастыре, на месте, где великий человекоубийца Иван Грозный отрубил голову святому игумену Корнилию, а потом покаянно рыдал над его телом.

Нелёгкая это задача для души, от Бога отвратившейся и удалившейся, обратно приблизиться к Нему. Тяжкая, свирепая борьба врывается в совесть лютым когтистым зверем; бес, хотя уже поражённый громом, упорствует не выпустить из своих зубов доставшуюся ему было «снедь». Ну, и:

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек, —
Голову снёс полюбовнице
И есаула засек, —

как поёт о Кудеяре полюбившаяся народу некрасовская баллада «Было двенадцать разбойников»…

И вот навстречу-то таким мятущимся Кудеярам, Власам, Иванам Грозным нашего века; Фёдору, Игнату Муромцеву, который из Чаш Господних водку пил и иконы на мушку брал («Земной поклон»); красноармейцу, грязными солдатскими сапожищами топтавшему Лик Богоматери, а потом в усердии «загладить своё окаянство» изнуряющему тело своё ношением железных вериг («Вериги»), — всем им, этим «неуспокоенным», «взвьюженным» совестью людям, злодеям-мученикам навстречу «идёт отец Василий с деревянной Чашей. И вокруг него ночь, и падает снег, а он идёт, идёт…»

И смотрят встречные мужики-ездоки, лихие пьяницы на благого странника «затаёнными древнерусскими (как хорошо!) глазами»:

«— Никитушка, куда плетёшься, Богова душа?..

— Господь туда зовёт… — зябко прошептал юродивый, указывая в степную, взвьюженную даль.

— Замёрзнешь ты в степи! Ишь, снег-то пошёл какой неуёмный!

— Это не снег, а цветики беленькие, — строго ответил Никитушка. — Господни цветики!.. Весна в небесах… Яблоньки райские осыпаются…

— Никитушка! Нехорошо в степи быть одному. Садись к нам в сани. Поедем в гости, а?

Никитушка замахал руками.

— Не замайте меня, ибо на мне рука Господня».

И — «самый пьяный и лихой» из мужиков валится в ноги юродивому: «Благослови меня, недостойного! Ты святой!»

Души, Бога утратившие и по Богу тоскующие, жаждут и ищут встреч с душами, Бога сохранившими и способными поделиться Богом с неимущими Его.

Кудеяры, зарывшие под ракитою свои окровавленные ножи, ходят странниками по русским дорогам, в чаянии Христова утешения и чутьём, на взгляд, узнают их отцы Васильи с деревянной Чашей и другие странники, Христовым утешением владеющие: «Грядёт Божий человек… Взор тихий, а душа беспокойная».

И такой-то обновляющийся «Божий человек», отставной Кудеяр, Игнат Муромцев, встретив в артели богомольцев припадочного мальчика Антошу, — припадочного оттого, что Муромцев на глазах мальчика расстрелял его отца и мать, — «взял Муромцев его на руки, и опять пошли мерным русским шагом, краем Волхова, под синими холодными мерцаниями, к дальнему монастырю»…

«И долго смотрел иеромонах вслед красноармейцу в веригах и думал о таинственных жутких путях русской души, о величайших падениях ее и величайших восстаниях, — России разбойной и России веригоносной».

Долго думает о том же и читатель, расставаясь с прекрасною книгою В. Никифорова-Волгина — возвышенною поэмою русской тоски по Богу и упования к Нему возвращения.

Александр Амфитеатров
Газета «Возрождение».
Париж. 1938, 14 янв.

Впервые: газета «Меч».
Варшава. 1937, 25 дек.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch